

СИБИРИАДА

ВЯЧЕСЛАВ
ШИШКОВ



ВАТАГА

Сибиряда

Вячеслав Шишков

Ватага (сборник)

«ВЕЧЕ»

1923

Шишков В. Я.

Ватага (сборник) / В. Я. Шишков — «ВЕЧЕ»,
1923 — (Сибириада)

1919 год. Гражданская война перевалила Уральский хребет и окатила кровавым приливом сибирские просторы. Коренной чалдон Степан Зыков возглавил отряд партизан и отбил у колчаковцев уездный городок, помог поднявшим мятеж большевикам и... был расстрелян красноармейцами вместе с женой на пороге собственного дома... Велика и щедра сибирская тайга, неисчерпаемы ее богатства – мед, пушнина, орех. И люди, живущие в тайге, широки и привольны душой и телом. И каждую весну из больших и малых поселений уходят в тайгу на промысел старый и малый – бродяги – в надежде найти свою удачу. Вот и сошлись как-то у одного костра бывший политический Андрей, старый промысловик Лехман, да двое неразлучных друзей – Антоха и Ванька-Свистопляс...

© Шишков В. Я., 1923

© ВЕЧЕ, 1923

Содержание

ВАТАГА	5
Глава I	5
Глава II	11
Глава III	14
Глава IV	19
Глава V	23
Глава VI	28
Глава VII	32
Глава VIII	38
Глава IX	41
Глава X	44
Глава XI	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Вячеслав Шишков

Ватага

ВАТАГА

Глава I

– Здорово, хозяйюшка. А где сам-то? – Один – усатый, другой – щупленький парнишка с птичьим лицом остановились в дверях, с ног до головы облепленные снегом.

Высокая чернобровая Иннокентьевна, в черной кофте, черной кичке, как монахиня, подала им веник:

– Идите, отряхнитесь в сенцах. Нету его. В бане он.

– Может, скоро придет? – спросил одетый по-городски парнишка.

– А кто его знает. Поглянется – до петухов просидит. Париться дюже горазд. А вы кто такие?

– Из городу. По экстренному делу. Вот бумага.

Вскоре оба пошагали к бане, в самый конец огромного двора.

Весь двор набит заседланными конями и народом. Горели три больших костра, было светло, как на пожаре.

Из бани выбежал голый чернобородый детина, кувырнулся в сугроб и, катаясь в глубоком снегу, гоготал по-лошадиному.

– Он, кажись, – сказал усач. – Товарищ Зыков, ты?

– Я, – ответил голый и поднялся.

Он стоял по колено в сугробе. От мускулистого огромного тела его струился пар. Городскому парнишке вдруг стало холодно, он задрал кверху голову и изумленно смотрел Зыкову в лицо.

– Мы, товарищ Зыков, к тебе, – сказал усач. – Да пойдем хоть в баню, а то заколеешь.

– Говори.

– Город в наших руках, понимаешь... А управлять мы не смыслим. Вот, к тебе...

– Вы не колчаковцы?

– Тьфу! Что ты... Мы за революцию.

Зыков от холода вздрогнул, лякнул зубами:

– Айдайте в избу. Я сейчас... – И легким скоком, как олень, побежал в баню.

В бане словно в аду: пар, жиханье обжигающих веников, гогот, ржание, стон.

– Хозяин, берегись!

В раскаленную каменку широкоплечий парень хлобыстнул ведро воды. Шипящим бешеным облаком белый пар ударил в потолок, в раму: стекло дзинькнуло и вылетело вон.

– Будя! – заорали на полке и кубарем вниз головой. – Людей сварить, черт... ковшом надо... А ты чем! Черт некованный.

– Живчиком оболкайтесь, – приказал Зыков. – Гости из городу. Дело будет.

Сотник, десятник, знаменщик быстро стали одеваться.

В просторной горнице с чисто выбеленными стенами было человек двадцать. Бородатые, стриженные по-кержацки, в скобку, сидели в переднем углу на лавках. Лампа светила тускло, все они оказывали на одно лицо. Это кержаки стариковского толку. Рядом с ними, до самых дверей – крестьяне среднегодки и молодежь. Тепло. Шубы, меховые азямы навалены в углу

горой. Под образами, за столом – два гостя и хозяин с хозяйкой – пьют морковный чай. Вместо сахара – мед. От сдобы и закусок ломится стол.

Городской парнишка в пиджаке вынул кисет и трубку.

– Иди-ка, миленький, во двор: мы табашников не уважаем, – ласково и, чуть тряхнув головой, сказала хозяйка.

Парнишка вопросительно поднял на нее глаза, она ответила ему веселым, но строгим взглядом, парнишка покраснел и спрятал кисет в штаны.

Вместе с клубами мороза вошли еще несколько человек.

– Все? – окинул хозяин собрание взглядом.

– Телухина нет.

– Телухина я отпустил на три дня домой, в побывку, – сказал хозяин. – Вот, братаны, из городу комиссия. При бумаге, форменно. Дай-ка, Анна, огарок сюда.

Иннокентьевна зажгла толстую самодельную свечу. Хозяин неуклюжими пальцами взял со стола бумагу:

– А ну, братаны, слушай.

Все откашлялись, выставили бороды, смолкли.

Зыков, шевеля губами, сначала прочел бумагу про себя. Городские не спускали с него глаз.

В синей рубахе, плотный и широкоплечий, он весь – чугунок: грузно давил локтями стол, давил скамью, и пол под его ногами скрипел и гнулся.

– Кха! – густо кашлянул он, комариком кашлянул пустой стакан и кашлянуло где-то там, за печкой.

«Начальнику партизанского отряда тов. Зыкову по экстренному делу в собственные руки просьба», – начал он низким грудным голосом.

«Товарищ Зыков и вы, партизанские орлы. Вследствие того, как, по слухам, красные войска перевалили Урал и берут Омск, а в Тайге восстание, мы большевики вылезли из подполья и сделали переворот и забрали власть в руки трудящихся. Как попы, которые организовали дружины святого креста для погрома, так интеллигенты и буржуи посажены в острог, а которые окончательно убиты и изгнаны из пределов городской черты. Вследствие того как нас большевиков мало и сознательный городской элемент в незначительном размере, то гидра контрреволюции подымает голову. Необходим красный террор и красная паника, иначе нас всех перережут, как баранов, и нанесут непоправимый ущерб делу свободы. Белые дьяволы, колчаковцы с чехо-собаками или прочая другая шатия вроде мадьяров с легионом польских уланов полковника Чумо, они белогвардейцы того гляди пришлют отряд и захватят нас живьем врасплох. Ежели вы не подадите немедленную помощь, это будет с вашей стороны нож в спину революции. Остальное по пунктам объяснят вам наши делегаты, товарищи Рыжиков и Пушкарев».

– Подписано – председатель Временного комитета Революционного переворота А. Тр... – Зыков замялся, наморщил нос, прищурился.

– Александр Трофимов, – подсказал усач.

– А-а... Ну-ну... Знаю Сашку Трофимова. Ничего...

Наступило минутное молчание. Все выжидательно пыхтели. Зыков как бы раздумывал, наконец сказал: – Та-а-к, – отложил бумажку, дунул на свечку и прижал светильню пальцами, как клещами. Открытое, смелое с черной окладистой бородой лицо его было красно и потно. То и дело он вытирался рушником.

– Ну, как, братаны? Печать и все... Бумага форменная, – и стальные, выпуклые с черным ободком глаза его уперлись в зашевелившиеся бороды.

– Надо подмогу дать, – тенористо, распевно сказала чья-то борода, и из полумрака сверкнули острые глазки.

– Главная суть в том, товарищи партизаны, – начал городской усач и зарубил ладонью воздух, – взять-то мы власть, конечно, взяли, а чтоб пустить машину в ход – гайка слаба. Например, крепость, конечно, в ихних руках, там десятка три солдатни с комендантом. Конечно, мы ее обложили, но мало ли какие могут произойти противоположные последствия, вы сами понимать должны, раз мы, почитай, без всякого вооружения. Надо организовать питание, надо устроить связь с центром, мы же ничего не знаем, сидим, как на острове, перед носом, значит, крепость, а граждане неизвестно в каких мыслях. Нужен, конечно, красный террор в первую голову. Например, Красная армия, ежели где ущемит эту белую банду, перепиливают напополам, отрубают руки, носы, вытыкают глаза, с живых сдирают кожу...

– Врешь, – удивленно перебил хозяин. – Ране они этого, говорят, не допускали. Откуда знаешь?

– Из газет, – враз сказали городские. – В газетах в ихних же, в колчаковских, в Томском печатают.

– Вот, – и парнишка выхватил из пиджака свернутую газету, посыпалась махорка, Иннокентьевна плюнула и сердито вышла.

– Ладно, не помрешь, отмолишь, – сказал ей вслед Зыков и поднес газету к глазам.

– Вот, читай: «Зверства красных», – указал парнишка.

Хозяин, двигая густыми черными бровями, зычно и медленно прочел. Все бороды ощетились, рты открылись, потекла слюна.

– Эту тактику красных героев и вам, товарищи, надо перенять. Тактика, конечно, верная, – сказал усач, прожевывая шаньгу с медом.

Среди горницы, в желто-сером полумраке, стоял с нагайкой в руке корявый, большеголовый парень. Ноздри его вздернутого носа злобно раздувались, черная папаха сдвинута на затылок. Он ударил нагайкой в крашенный пол и простуженной глоткой гнусаво задудил:

– А слышали, что чехо-собакам самолучшая земля Колчаком обещана, крестьянская? Вроде помещиков будут. За то, что нашу кровь льют... Слышали?

– Слышали.

– Не бывать тому! – хлестнул он нагайкой. – Кто они, растуды их? Откуль взялись? По какому праву?

– Приблуды-дыши!..

– А слышали, как нашу Мельничную деревню белый отряд живьем сожиг? Большевиками прикинулись. «Мы, мол, красные, преследуем белую сволочь, укажите, куда белые ушли, мы их вздрючим. Вы, ребята, за кого, за нас, за красных?» – «За красных». – «Вся деревня?» – «До единого». Отошли да и грохнули из пушек. Ночь, пожар. Ни одного человека не осталось. Слышали? – Голос его дрожал, всхлипывал и рвался.

– Слышали, слышали...

– Ага! Вы только слышали, а мои батька с маткой да братишки изжарились, костей не соберешь. Э-эх! – Он грохнул папаху о пол, засопел, засморкался и кривобоко, пошатываясь и скуля, пошел к двери.

А на дворе светло и весело: огни костров мазали желтым окна, с присвистом и гиком ломилась в стекла песня, тихо падал снег.

В горнице молчали. Только слышались позевки и вздохи, да сердито скреб жесткую, как проволока, давно небритую щетину на щеке городской усач, – щетина звенела. Хозяйка перетирала посуду и, вскидывая носом вверх, звонко икала, словно перепуганная курица.

– Зыков! Батюшка Зыков, отец родной... Защиты прошу. – Парень с нагайкой опять шагнул от двери и, раскорячившись, повалился в ноги Зыкову.

– Весь корень наш порешили... Сестренку четырех лет, младенчика...

– Ладно, – сказал хозяин. – Встань.

Парень вскочил и словно взбесился.

– У-ух! – Он опять хватил папаху об пол и стал топтать ее каблуками, как змею. – В куски буду резать. Кишки выматывать... Только бы встретить... Кровь, как сусло, потекет... У-ух!.. Зыков, коня! Коня давай!! – И с лицом, похожим на взорвавшуюся бомбу, он саданул каблуком в дверь и выбежал.

Кто-то хихикнул и сразу смолк.

– Вот до чего довели народ, – тихо сказал Зыков. Он задвигал бровями, густыми и черными, похожими на изогнутые крылья, и глаза его скосились к переносице.

Изба замерла.

– Утром, по рожку, седлать коней. Четыре сотни, – как молот в железо, бухали его слова. – Вьючный обоз. Два пулемета. До городу сто двадцать верст. Через десять верст дозорных и пикеты связи. Пятая и шестая сотня здесь, под седлом. Тринадцатой и одиннадцатой сотне, что на заслоне к Бийску, отвезть приказ: до меня сидеть смирно, набегов ни-ни. А то ерунды напорют.

– Кто отряд в город поведет? – поднялся и подбоченился Клычков.

– Сам, – резко ответил хозяин и покосился на жену.

– Сам, сам... – с сердцем сунула она пустую кринку. – Башку-то свернут... Вояка. Сам! – И по ее сухому строгому лицу промелькнули тенью печаль и страх.

– Брось, не впервой, – ласково, жалеючи, сказал Зыков.

Он поднялся во весь свой саженный рост и накиннул на одно плечо полушубок:

– В моленную!.. Которые стариковцы – айда за мной.

Снег все еще падал, пушистый и пахучий. Похрюкивали свиньи, где-то над головами прогорланил ночной петух, отфыркивались кони.

Приударь, приударь!

Еще разик приударь!..

Песня и хохот у костра возле ворот разрывали и толкли желто-белую мглу ночи.

– Детки, потише вы. Шабаш! Эй, которые стариковцы... В моленную!

Моленная – в нижнем этаже. Там же, в каморке, в боковуше, живет отец Зыкова, кер-жацкий кормчий, старец Варфоломей.

В моленной тьма. Пахло ладаном, ярым воском и неуловимой горечью слез и вздохов. Вздохи и шепот молитв повисли, запутались в тайных углах и ждали.

Зыков высек о кремень искру, затлеялся трут, и во тьме, как светлячки, заколыхались сонные огни свечей.

Стены были темные, прокоптелые, воздух темный. Серебряные венчики потемневших стародавних икон сонно заблестели, и Нерукотворный Спас, сдвинув брови, скорбно смотрел желтыми глазами Зыкову в лицо.

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас, – глубоко вздохнув, смущенно прошептал Зыков; он на цыпочках пересек моленную и открыл дверь в боковушу. – Родитель батюшка...

Старик спал на спине. Широкая, седая борода его покрывала грудь. Руки сложены крестообразно, как у покойника. Большая свеча возле настенного образа чадила, отблеск света елозил по оголенному черепу старца. На аналое – толстая, с застежками книга. В углу стоит кедровая колода-гроб. На крышке черный восьмиконечный крест.

Зыков снял со свечи нагар и внимательно всмотрелся в лицо отца.

– Спит.

Народ прибывал. В моленной полно. Запахло кислятиной промокших овчин, луком и потом.

Шорохом ширился шепот, и повертывались кудластые головы к келье старца.

– Отцы и братия, – появился Зыков с зажженной свечой в руке. – Родителю недужится, почивает. Совершим чин без него, соборне, еже есть написано.

И ответил мрак:

– Клади начал. Приступим с верою и радением. Аминь.

Натыкаясь вслепую друг на друга, – только маленькие оконца багровели, – кержаки сняли с гвоздей лестовки, разобрали коврики-подручники – с ладонь величиной, что подстилают под лоб при земных поклонах, и чинно встали на места.

Возгласы чередовались с пением хором, вздохи – с откашливанием и стенанием. Сложенные дуперстно руки с азартом колотились в грудь и плечи, удары лбами в пол были усердно-гулки.

Зыков кадил иконам, кадил молящимся, внятно читал с завойкою по книге. Чмыкали носы, по бородам катились слезы. У Зыкова тоже зарябило в глазах: Нерукотворный Спас взирал на него уныло.

– Трижды сорок коленопреклоненно, Господи помилуй рцем...

И мололи тьму и сотрясали кедровый пол бухавшие земно великаны.

Благочестивое пыхтение, вздохи, стоны прервал громкий голос Зыкова:

– Помолимся, отцы и братия, от всея души и сердца, по-своему, как Господь в уста вложил.

– Аминь.

Он уставился взором в строгий Спасов лик, воздел руки, запрокинул голову, – черные волосы взметнулись:

– О, пречестный Спасе, заступниче бедных и убогих. Разожги огонь ярости в сердцах наших, да падут попы-никонианцы-табашники и все власти сатанинские от меча карающего. Да соберем мы веру свою правую и сохраним, и нерушимо укрепим. Как ты, Спасе и Господи, гнал вервием торгующих из храма, так и меч наш карающий с дымом, с кровью пронесется над землей. Верное воинство твое – дружину нашу – спаси и сохрани во веки веков...

– Аминь... Во веки веков... Спаси сохрани... – засекло набухший вздохами воздух.

Зыков земно поклонился Спасу, встал боком за подсвечник и, подняв руку, бросил в гущу склонившихся голов:

– И опять, вдругорядь, требую клятвы от вас. Зачинаем большое дело, дружина наша множится, как песок, и работы впереди – конца-краю не видать. Клянитесь всечестному образу: слушаться меня во всем – все грехи ваши я на себя беру – я ответчик! Клянись – не пьянствовать... Клянись – бедных, особливо женщин, не обижать. Клянись...

И враз загудела тьма, как девятый вал:

– Клянемся...

И никло пламя у свечей:

– Клянемся.

– Клянись стоять друг за друга, стоять за правду, как один, даже до смерти. Клянись...

Все клянись!..

– Клянемся... Все!..

– Теперича подходи смиренно с лобызанием.

А когда моленная опустела, Зыков притушил до единой все свечи и зашагал чрез тьму, суеверно озираясь. Кто-то хватал его за полы полушубка, кто-то дышал в затылок холодом, по спине бегали мурашки.

В лице быстро сменилась кровь, и сердце окунулось в тревожное раздумье:

«Так ли? Верен ли путь мой? Не сын ли погибели расставляет сети для меня?» – шептал он малодушно.

И, опрокидывая все в своей душе, Зыков кричал, кричал без слов, но громко, повелительно:

– Нет! Христос зовет меня... Народ зовет...

Костры во дворе померкли. У глубоких нор, у землянок и зимников, где коротали морозное время партизаны, в лесном раскидистом кольце за заимкой, пересвистывались дозорные, сипло взлаивали сторожевые псы.

Зыков вскочил на коня – ему надо крепко обо всем подумать, побыть наедине с собой, среди сонного леса, среди омертвевших гор, – ударил коня нагайкой и поехал в бездорожную глухую мглу.

А в бездорожной безглазой мгле, выбравшись на знакомый большак, ехали обратные путники – усач и парнишка. Ехали в радости: сам Зыков идет им на подмогу.

Старец Варфоломей пробудился ото сна и творил предутреннюю молитву, истово крестясь.

Анна Иннокентьевна, укрывшись заячьим пятиаршинным одеялом, одиноко глотала слезы.

После третьих петухов заскрипела дверь, и Зыков встал против старика-отца.

– Батюшка-родитель, благослови в поход, утречком.

Старец Варфоломей в белых портах и в белой, по колено рубахе, весь белый, угловатый, сухой, сел на кровать и, обхватив грудь, засунул ладони под мышки.

– Руки твои в крови. Пошто докучаешь мне, пошто не дашь умереть спокойно? – слабым, но страстным шепотом проговорил старик.

– Кровь лью в защиту бедных и обиженных... Так повелел Христос, – убежденно возразил сын.

– Замолчи, еретник! Засохни. – Старец зловеще угрожал перстом. – Рече Господь: подъявый меч от меча погибнет. Чуешь?

– Неизвестно, что бы теперича сказал Христос, – стараясь подавить закипающее сердце, проговорил Зыков.

Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и, чуть отвернувшись, косил глаза на дышавшую смолой колоду-гроб:

– Рассуди, родитель, не гневайся. Ежели все будем сидеть смиренно, аки агнцы, придет волк, перебьет всех до единого, заберет себе все труды наши, вырежет скот, разорит пасеки. Сладко ли? Что ж, дожидать велишь? Что ж, прикажешь смотреть, как жгут и погубляют целые деревни? – Зыков прижал к груди руки и умоляюще глядел в лицо отца. – Родитель, подумай. Ты стар, очеса твои зрят дальше. Родитель, благослови! Не впервой прошу, колькраты прошу: благослови. Мне тоже тяжело, родитель. Зело тяжело на душе...

Старец нахмурил хохлатые брови, большие мутные немигающие глаза его были холодны и бесстрастны, рот открыт.

И показалось сыну: сизый дым ползет от глаз, от бровей, от седых косм старца. Сердце сына задрожало, зарябило в глазах, дрогнул голос:

– Родитель-батюшка! – всплеснув руками, он порывисто шагнул к отцу: – Родитель!

– Уйди, сатано, не смущай, – и старик угловато махнул высохшей рукой.

– Колькраты говорил: уйди! Кровь на тебе, кровь.

Зыков поклонился отцу в ноги, сухо сказал:

– Прощай, – и, как в дыму, вышел.

Глава II

Месяц стоит в самой выси морозной ночи. Голубоватые сугробы спят. Горы сдвинулись к реке, и у их подола – городишко. Три-четыре церкви, игрушечная крепость на яру: башня, вал, запертые ворота. Улочки и переулки, кой-где кирпичные дома, оголенные октябрьским ветром палисады. Это на яру.

Спуск вниз, обрыв и внизу будто большое село – вольготно расселись на ровном, как скатерть, месте – дома, домишки и лачуги бедноты.

Городок тоже в снежном сне. Даже караульный в вывороченных вверх шерстью двух тулупах подремывает по привычке у купеческих ворот, да на мертвой площади, возле остекленного лунным светом храма, задрав вверх морду, воеет не то бесприютная собака, не то волк.

Город спит тревожно. Кровавые сны толпятся в палатках и хибарках: виселицы, недавние выстрелы, взрывы бомб, набат звенят и стонут в наполовину уснувших ушах. Вот вскочил старик-купец и, обливаясь холодным потом, нырнул рукой под подушку, где ключи:

– Фу-у-ты... Слава те, Христу.

Вот священник визжит, как под ножом, вот сапожных дел мастер бормочет, сплевывая через губу:

– Где, где? Бей их, дьяволов!

А собака воеет, побрякивает колотушкой караульный, и дозорит в выси морозной ночи облыселея холодная луна.

Впрочем, еще не спят неугасимые у крепостных ворот зоркие костры, и возле костров борется со сном кучка отважных горожан из лачуг и хибарок. Иные спят. Блестят винтовки, топоры, в сторонке раскорячился пулемет и задирчиво смотрит на ворота.

А за воротами тишина: умерли, спят – иль ожидают смерти? Человек не видит, но месяцу видно все: эй, люди у костров, не спи!

Ванька Барда, чтобы не уснуть, говорит:

– Скоро смена должна прибыть. Чего они канительятся-то? Нешто спосылать кого...

Никто не ответил.

Ванька Барда опять:

– Ежели денька через три зыковские партизаны не придут, каюк нам... – и безусое лицо его в шапке из собачины подергивается трусливой улыбкой.

– Как это не придут! – скрипит бородач, косясь на земляной вал крепости.

– Могут дома не захватить Зыкова-то: он везде рыщет...

– Тогда не придут.

– В случае неустойки – я в лес ударюсь, в промысловый зимник... Там у меня припасу сготовлено: что сухарей, что мяса, – уныло тянет Барда.

– А ежели к Колчаку в лапы угодишь?

– А почему он узнает, что я большевик? Ваш, скажу... Белый. На брюхе не написано.

– Ты, я вижу, дурак, а умный... – по-хитрому улыбнулся бородач и вдруг быстро привстал на колени, вытянул лицо, – Чу!.. Шумят. За валом.

– Эй, кобылка! – звонко крикнул своим Ванька Барда.

Два десятка голов оторвались от земли.

– Вставай!

Но все было тихо.

И вслед за тишиной грянул с вала залп. Ванька Барда кувырнулся головою в костер. Караульный там, у купеческих ворот, свирепо ударил в колотушку, вытаращил сразу потерявшие сон глаза. Из хибарки выскочил человек и выстрелил в небо. Заскрипели городские калитки, загрохотали выстрелы. Пронесся всадник. Собака бросилась к реке.

– Ну, опять, – мрачно сказал чиновник акцизного управления Федор Петрович Артамонов.

Он притушил лампу и уперся лбом в оконное стекло, курносый нос его еще больше закурносился, и впалые глаза скозились.

Дом, где он квартирует, двухэтажный, церковный. Вверху живет священник.

– Тьфу, – желчно плюнул он и заходил по комнате.

Лунный свет зыбкий, странный. Голубеет и вздрагивает открытая кровать, Артамонову чудится, что на кровати лежит мертвец с голым, как у него, черепом.

– Черт с тобой, – говорит Артамонов, ни к кому не обращаясь, достает из шкапа бутылку казенной водки и наливает стакан. В зеркале туманится его отражение. – За здоровье верховного правителя, адмирала Колчака, черт его не видал, – раскланивается он зеркалу, пьет и крикает. Ищет, чем бы закусить. Сосет голову селедки. – Дрянь дело, дрянь. Россия погибла. Пра-а-витель... Офицеришки – сволочь, шушера, пьяницы... – думает вслух Федор Петрович, порывисто и угловато, как дергунчик, размахивает руками, утюжит черную большую бороду, и глаза его горят. – Ха, дисциплина... Да, сволочи вы этикие! Разве такая раньше дисциплина-то была... И что это за власть! Городишко брошен на обум святых, ни войска, ни порядка. Пять раз из рук в руки. То какая-нибудь банда налетит, то эта дрянь, большевички, откуда-то вылезут из дыры. А кровь льется, тюрьмы трещат... Вот и поработай тут.

Выстрелы за окном все чаще, чаще. Черным по голубому снегу снуют людишки. По потолку над головой раздалися шаги: проснулся поп.

– Вот тут и собирай подать. А требуют. Петлей грозят.

Постучались в дверь.

– Войдите!

Бородатый священник в пимах¹, хозяин. Глаза сонные, свинячьи.

– Стреляют, Федор Петрович. Пойдемте, Бога для, к нам... Боязно.

– Большевиков бьют, – не то радостно, не то ожесточенно сказал чиновник. – Пять суток только и потанцевали большевики-то... Да и какие это большевики, так, сволота, хулиганы...

– Говорят, за Зыковым гонцы пошли, – сказал священник.

– Что ж Зыков? Зыков за них не будет управлять. Зыков – волк, рвач.

– Говорят, красные регулярные войска идут. Дело-то Колчака – швах. Боже мой, Боже, – голос священника вилял и вздрагивал. – А Зыкова я боюсь, гонитель церкви.

– Да, Зыков – ого-го, – за кержацкого бога в тюрьме сидел, – чиновник ошупью набил трубку и задымил.

– Эх, жизнь наша... Ну, Федор Петрович, пойдемте, Бога для, прошу вас. И матушка боится.

На ходу, когда подымались по темной внутренней лестнице, Артамонов басил:

– Вам и надо Зыкова бояться, отец Петр. Не вы ли, священство, организовали погромные дружины святого креста? А для каких целей? Чтоб своих же православных мужиков бить...

– Только большевицкого толку! – вскричал священник. – Только большевицкого толку, противных власти верховного правителя...

– Да вашего верховного правителя мужики ненавидят, аки змия, – нескладно загромыхал Артамонов.

– Ежели красную сволочь не истреблять – в смуте кровью изойдем.

– Да ваше ли это пастырское дело?!. Ведь по вашему навету пятеро повешено... Отец Петр! Батюшка!

Священник отворил дверь в освященные свои покои и сказал сердито:

– Ээ, Федор Петрович, всяк по-своему Россию любит.

¹ Пимы – валенки.

Утром красный пятидневный флаг, новенький и крепкий, был сорван с местного управления и водружен старый потрепанный: белый-красный-синий.

В это же утро три сотни партизан двинулись в поход.

Под Зыковым – черный гривастый конь, как черт, и думы у Зыкова черные.

Глава III

Зыковские партизаны в этом месте впервые. Но население знает их давно и встречает везде с почетом.

Уж закатилось солнце, когда голова утомленного отряда пришла в село. На площади, возле деревянной церкви, зажглись костры. Мужики добровольно кололи овец, кур, гусей, боровков и с поклоном тащили гостям в котлы.

– Обида вам есть от кого? – допрашивал Зыков обступивших его крестьян. – Поп не обижают?

– Ох, батюшка ты наш, Степан Варфоломеич... Поп у нас, отец Сергей, ничего... Ну от правительства от сибирского житья не стало. Набор за набором, всех парней с мужиками, пятнай их, под метелку вымели. А придет отряд – всего давай. А нет – в нагайки... Ежели чуть слово поперек – висельница... Во-о-о, брат, как. Опять же черти-собаки...

– Знаю.

– Вот на этой самой колокольне два пулемета было осенью, для устрашения. Вот они какие, черти-собаки-то... А что девок перепортили, пятнай их, баб... Ну, ну...

– Чехословаки туда-суда, утихомирились, а вот мандяришки... Ох, и лютой народ... Да казачишки с Иртыша...

– Все одним миром мазаны.

Зыков сидел у костра на потнике, облокотившись на седло в серебряном окладе. Он поднял голову и прищурился на крест колокольни.

– Поп не обижают? – опять переспросил он, и глаза его вызывающе округлились.

– Нет. Обиды не видать... А тебе на артель-то, поди, сена надо лошадям да овса? Да-а-дим...

– Срамных! – крикнул Зыков. – Иди-ка на пару слов.

От соседнего костра, бросив ложку, вскочил рыжебородый и мигом к Зыкову.

– Вон в том доме торговый человек, Вагин, – сказал Зыков. – Возьми людей, забери овса, сена: надо коней накормить.

– Правильно, резонт, – весело переглянулись мужики.

– Эй! Кто потрапезовал? – Зыков поднялся. – Ну-ка с топорами на колокольню... Руби в верхнем ярусе столбы.

– Ну?! Пошто это? – опешили крестьяне. – Мешает она тебе?!

– Надо.

Затрещала обшивка, доски с треском полетели вниз. Ребятишки таскали их в костры. Акулька распорол гвоздем руку и испугано зализывает кровь.

– Пилой надо, пилой! – раздавались голоса. – Силантий, беги-ка за пилой.

Из избы выскочил низенький, похожий на колдуна, старик и – к Зыкову:

– Пошто храм Божий рушишь? Ах, злодей!... Вы кто такие, сволочи?!

Он топал ногами и тряс бородицей, как козел.

– Удди, дедка Назар! В голову прилетит, – отгаскивали его мужики. Топоры, как коршун в жертву, азартно всаживали крепкий клюв в кондовые столбы.

– А колокола-то... Надо бы снять. Разобьются.

– Мягко, снег.

– Однако разобьются.

Зыков поймал краем уха разговор.

– Звоны ваши не славу благовествуют Богу, а хулу, – сказал он громко.

– Попы на вовся загадили вашу дорожку в царство Божье. На том свете погибель вас ждет. – Он вдруг почувствовал какую-то неприязнь к самому себе, крикнул вверх. – Эй,

топоры, стой! – и быстро влез на колокольню. – Сколько? – хлопнул он ладонью в главный колокол.

– Тридцать пудов никак.

– Добро, – сказал Зыков и подлез под колокол. – Вышибай клинья!

Края колокола лежали на его плечах.

Зацокало железо о железо, молот, прикряхивая, метко бил.

– Зыков! Смотри, раздавит... Пуп сорвешь.

– Вали, вали...

Колокол осел, края врезались, как в глину, в плечи. Ноги Зыкова дрогнули и напряжались, стали, как чугун.

– Подводи к краю! Не вижу... – прохрипел он, едва отдирая ноги от погнувшегося пола, и двинулся вперед.

– Берегись! – И колокол, приподнявшись на его ручищах, оторопело блямкнул языком и кувырнулся вниз, в сугроб.

Зыков шумно, с присвистом, дышал. Шумно, с присвистом, вдруг задышал народ.

– Вот это, ядрит твою, так сила...

Из носа Зыкова струилась кровь, на висках и шее вспухли жилы. Он поддел в пригоршни снегу и тер ими налившееся кровью лицо.

Топоры вновь заработали, щепки с урчанием, как лягушки, скакали в воздухе. Кучка мужиков, пыхтя, выпрастывала из сугроба колокол.

Зыков опять стоял внизу среди толпы.

– Канат, – скомандовал он. – Зачаливай!

От поповской калитки кричал священник, его сдерживали, успокаивали мужики, а старики орали вместе с ним, скверно ругались, взмахивали клюшками.

– А как насчет попа, братцы? Говори откровенно... – опять сквозь стиснутые зубы спросил Зыков, и белки его глаз, как жало змеи, вильнули в сторону попа.

Мужики молчали.

– Эй, кто там еще? Слезай с колокольни!.. Подводи лошадей.

И по десятку коней впряглись в оба конца каната. Мужики, а сзади ребяташки, крепко вцепились в канат, нагнулись вперед, напрягли мускулы, застыли. И словно две огромных сороконожки влипли присосками в растоптанный белый снег.

– Готово?

– Вали!

Народ ухнул, закричал, некоторые наскоро перекрестились, нагайки ожгли всхрапнувших коней, верх колокольни затрещал, заскорготал костями, покачнулся и, чертя крестом по звездному небу, рухнул вниз. Взвились снег и пыль, лошади и люди посунулись носами. Хохот, крик, веселая визготня парнишек.

А дедка Назар, подкравшись сзади, грохнул-таки Зыкова костылем по голове:

– Нна, антихрист!.. Нна...

– Дурак! – круто обернулся к нему Зыков, поправляя папаху. – Забыл, как пулеметы-то на колокольне стояли? Забыл?

От двух его серых суровых глаз дед вдруг шарахнулся, как от черта баба:

– Гаф! Гаф! Гаф! – отрывисто, сумасшедше взлаял он. – У, собака. Кержацка морда. Гаф!.. – И под дружный хохот, боком-боком прочь, в прогон.

Костры ярко горели, с кострами веселей. Воздух над ними колыхался, и видно было, как колыхались избы, небо, мужики.

В поповском доме погас огонь. От поповских ворот сипло лаял в небо старый поповский пес. Девушки и бабы ходили вдоль освещенного кострами села, перемигивались, пересмеивались с партизанами, угощали их кедровыми орехами:

– На-ка, бардадымчик, погрызи.

Парнишки осматривали ружья, вилы, барабаны. Возле пулеметов – целая толпа.

– Эй! – закричал Зыков. – А где здесь староста?

И по селу многоголосо заскакало:

– Эй, Петрован!.. Где Петрован?.. Копайся скорей... Зыков кличет.

Петрован, лет сорока мужик, суча локтями и сморкаясь, помчался от пулемета к Зыкову. За ним народ.

– Что прикажешь? Я – староста Петрован Рябцов. – Он снял шапку и, запрокинув голову, смотрел Зыкову в глаза.

– Я по всем селам делаю равнение народу, – на весь народ заговорил тот. – И у вас тоже. Шибко богатых мне не надо, и шибко бедных не должно быть. Сердись не сердись на меня, мне плевать. Но чтоб была правда святая на земле. Вот, что мне желательно. И у меня нишкни. Ну! Эй, староста, которые бедные – по леву руку станови, которые богатые – по праву руку. Срамных, наблюдай. А я сейчас. Коня!

Он вскочил в седло – конь покачулся – и поехал за околицу, на дорогу, проверять сторожевые посты.

– Эй, часовые! Не дремать! – покрикивал он, грозя нагайкой.

А в толпе мужиков крик, ругань, плевки. Парфена тащили из бедноты к богатым. Аристархова не пускали от богатых в бедноту. Дранный оборвыш гнусил из левой кучки:

– Обратите внимание, господа партизане: семья моя девять душ, а избенка – собака ляжет, хвост негде протянуть, вот какая аккуратная изба. Мне желательно обменяться с Таракановым, потому у него дом пятистенок, а семья – трое... А моя изба, ежели, скажем, собака...

– Сам ты собака. Ха! В твою избу. Вшей кормить.

Бабы подошли. У баб рты, как пулеметы, руки, как клещи, и сердце – перец.

Кричал народ:

– У тя сколь лошадей? А коров? Двадцать три коровы было.

– Было да сплыло. В казну отобрали. Дюжину оставили.

– Ага, дюжину!.. А мне кота, что ли, доить прикажешь?

– Братцы, надо попа расплантовать... Больно жирен.

– Сколь у него лошадей? Четыре? Отобрать... Две – Василью, две – оборвышу. Только пропъет, сволочь...

– Кто, я? Что ты, язви ты...

– А попу-то что останется?

– Попу – собака.

– Это не дело, мужики, – выкрикивали бабы.

– Плевала я на Зыкова... Кто такой Зыков? Тьфу!

– А вот подъедет, он те скажет – кто.

Подъехал Зыков:

– Ну, как? Слушай, ребята. Обиды большой друг дружке не наносите...

– Степан Варфоломеич! Набольший! – И дранный, низенький оборвыш закланялся в пояс черному коню. – Упомести ты меня к богатею Тараканову, а его, значит, ко мне: избенка у меня – собака ежели ляжет, хвоста негде протянуть.

Зыков сердито прищурился на него, сказал:

– Тащи сюда свою собаку, я ей хвост отрублю. Длинен дюже.

В толпе засмеялись:

– Ах, ядрена вошь... Правильно, Зыков!.. Он лодырь.

– Ну, мне валандаться некогда с вами, чтобы из дома в дом перегонять, потрогивая поводья, сказал Зыков. – Уравняйте покуда скот... Надо списки составить, посоветайтесь, идите в сборню... Что касаемо жительствова, вот укреплюсь я, как следовало быть, тихое положение

настанет, все села новые по Сибири построим. Лесу много, знай, топоры точи. Всем миром строить начнем, сообща. Упреждаю: поеду назад, проверка будет. Чтоб мошенства – ни-ни... Эй, Ермаков!

К ночи все затихло. Месяц был бледный, над тайгой и над горами вставал туман.

Партизаны разбрелись по избам, многие остались у костров. Лошадей прикрыли потниками, ресницы, хвосты и гривы их на морозе поседел.

Зыков с шестью товарищами ушел на ночевую к крепкому мужику Филату.

– Чем же тебя побаловать? – спросил Филат. – Чай потребляешь?

– Грешен, пью. Плохой я, брат, кержак стал.

– Эй, баба! Становь самовар, да дай-ка щербы гостям. Такие ли добрые моксины попались, объяденье.

Щербу ели с аппетитом. Выпили по стакану водки. Как ни просил хозяин повторить – нельзя.

– Мой сын, – сказал Филат, – в дизентирах. Ну, он желает записаться к тебе. Гараська, выходи! Чего скоронился?

Вышел высокий, толстогубый, с покатыми плечами, парень и заскреб в затылке:

– Жалаим... Постараться для тебя, – сказал он, стыдливо покашливая в горсть.

– Пошто для меня? Для ради народа, – поправил Зыков. – Ну, что ж. Рад. Конь есть?

– Двух даем, – сказал отец. – И винтовка у него добрая. Мериканка. И вся амуниция.

С фронта упорол.

И пока пили чай, еще записались четверо, с винтовками и лошадьми.

– Мы не будем убивать, так нас убьют, – сказал поощрительно какой-то дядя от дверей.

Крестьян набилось в избу много. Были и женщины. Зыков крупно сидел за столом среди своих и хозяев, на голову выше всех. Черные, в скобку подрубленные волосы гладко причесаны. Поверх черной рубахи шла из-под густой черной бороды серебряная с часами цепь. Бабы не спускали с него глаз. Акулька, маленькая дочь Филата, выгибаясь и потягиваясь, стояла у печки. Раненая гвоздем рука ее была замотана тряпкой.

Акулька все посматривала на черного большого дяденьку и что-то шептала. Потом кривококо засемила к своей укладке, вытащила заветную конфетку с кисточкой и, сунув ее в горсть Зыкову, нырнула, сверкая пятками, в толпу баб и девок. Все захохотали.

Зыков растерянно повертел конфетку, качнул головой и тоже улыбнулся:

– Спасибо, деваха... Расти, жениха найду, – сказал он, пряча подарок в карман.

Акулька, подобрав рубашонку, голозадо шмыгнула по приступкам на печку, к бабушке.

Когда укладывались спать, хозяин спросил:

– Много ли у тебя, Зыков, народу-то?

– К двум тысячам подходит.

– Поди, твои кержаки больше?

– Всякие. Чалдонов² много да беглых солдат. Каторжан да всякой шпаны тоже прилично.

А кержаков не вовся много.

– А с Плотбища есть кержаки у тя?

– С Плотбища? Кажись, нет. А где это? Чего-то не слышал.

– Весной откуда-то прибегли, разорили, вишь, их там. В глухом логу живут... Нонче пашню запахивали быдто. Верстов с пятнадцать отсель.

– Надо навестить, – сказал Зыков и стал одеваться.

– Куда ты? Что ты, ночь... Спи!

– Ничего. Я там переночую. Скажи-ка парню своему, чтоб двух коней мигом заседлал.

Он знает дорогу-то?

² Чалдон – коренной сибиряк-крестьянин.

Зыкову хотелось спать, глаза не слушались, но он враз пересилил себя. Горела лампадка у старых икон. Шестеро товарищей его спали в повалочку на полу. Он притворил за хозяином дверь и поднял за плечи рыжеголового.

– Слушай-ка, Срамных. Ну, прочухивайся скорей, чего шары-то выпучил! Это я. Вот что... – Зыков задумался. – Завтра до солнца айда в город. По пути смени коня и дальше. Чтoб к вечеру туда поспеть. Вынюхай, понимаешь, все. Кой-кого поприметь. Умненько.

Потом поднял корявого и низенького, в черной бороде с проседью, тот сразу вскочил и коренасто, как кряж, стоял на шубе, раскорячив ноги. Волосы шапкой висли на глаза.

– Слушай, Жук. Завтра отряд ты поведешь. Понял? Ты. А я нагоню. – Жук почтительно встряхивал головой.

– Кони готовы! – Веселым голосом крикнул Гараська, входя к ним – Винтовку надо?

– Захвати.

Было одиннадцать часов. Месяц высоко вздыбился. Скрипучие ворота выпустили двух всадников.

Они проехали вдоль села. У костров, в тулупах и пимах, взад-вперед, чтоб не уснуть, ходили с винтовками часовые. У дальних за селом ворот, в поскотине, возле покрытых лесом скал, тоже горел костер. Четверо спали около жаркого пламени, пятый часовой с винтовкой, скорчившись, сидел на брошенном у костра седле и храпел. Зыков, проезжая, сгреб его за шиворот, приподнял, бросил в сугроб и, не оглядываясь, поехал дальше. Гараська захохотал:

– Вскочил... Хы-хы-хы... Опять кувырнулся... Целит!..

Жихнула пуля мимо самой зыковской головы и горласто, среди гор, грохнул выстрел. Зыков карьером подскакал к костру. Все у костра вскочили:

– В кого стрелял? – гневно крикнул он.

Часовой, раскосый парень, отряхивая снег, сердито скосил на Зыкова глаза:

– В черта!.. В того самого, что в сугроб людей швыряет.

Зыков вынул пистолет и выстрелом в лоб уложил часового на месте.

От села, в тумане взвихренного снега, с гиканьем мчались марш-маршем всадники.

– Сменить часового! – крепко сказал Зыков и поехал вперед.

Гараська весь трясся, зубы его стучали.

Еще ковш Сохатого не повис отвесно над землей, как всадники, миновав звериные горные тропы и лога, подъехали к кержацкой заимке. Заимка, притаившись, плотно сидела в ущельи, как в пазухе блоха.

– Тпру, – остановил Гараська. – Здесь.

Из конур, из-под амбара, с лаем выскочили собаки. Трусливый Гараська поймал жердину. Зыков, подойдя к двери, постучал. Гараська, взмахивая жердиной, робко пятился от разъяренной собачьей своры.

За дверью раздался голос, в избе вспыхнул огонек.

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас, – сказал Зыков.

– Аминь.

Дверь отворилась, перед ними стоял высокий сухой бородач.

– Милости просим... Кто такие, гостеньки?

Маленькая изба, построенная на спешку, битком набита спящими. Было жарко. От разбросанных на полу подушек отрывались встрепанные головы, мигали сонными глазами и валились вновь.

Глава IV

С утра Жук повел отряд дальше. Их путь был среди гор, в стороне от большака, напрямки, по ущельям, падам и узеньким долинам горных речушек. Древние засельники этого края, инородцы, частью были перебиты в гражданской склоке, частью бежали, куда глаза глядят, а иные притаились поблизости, в недоступных потайных местах.

И расстились по пути горы, тайга, сугробы, вольный ветер и безлюдье. Редко, редко, в стороне – заимка, деревня или село.

В это же утро оповещенные по заимкам кержаки собирались в избу. Уж нечем было дышать, и Зыков предложил пойти на воздух.

Румяные, веселые лица баб и девок улыбочиво проводили кержаков. Бабы стряпали, топили печь, звонко перекликались.

Гараська остался в избе. Сидит, врет. Бабье смеется.

– Овса, что ли, припереть? Сена? Пойдем кто-нибудь, покажь.

Все тело Гараськи горело, играла кровь. Но старуха, дьявол, зла, как черт. И глаза у нее по ложке.

В глухом сосняке, где заготавливали лес, народ расселся на поваленных деревьях. Для сугрева, для веселости развели костер. Зыков – в длиннополом, черного сукна на лисьем меху кафтане. Позднее зимнее солнце всходило из-за цепи гор. Зарумянились сосны, бородатые и безбородые крепкие лица кержаков. Красный кушак на Зыкове стал ярким, как кровавой огонь.

– Пошто, отцы и братья, ни единого человека из вас не было у меня на заимке? – спросил Зыков. – Давайте сотворим беседу.

– Скрытничаем мы. Вот и сидим, боимся.

– Бежали, ягодка, сюда, бежали, – молодым голосом сказал белый старик на пне. Нос у него тонкий, горбатый, на серебряном сухом лице два черных глаза. – наших мальцев Колчак воевать тянул, в солдаты. А с кем воевать-то, чью кровь-то лить, спрошу тебя? Свою же. Сие от дьявола суть.

Старик порывисто запахнул зипун и, оглянувшись на народ, подозрительно уставился в лицо гостя.

Зыков крикнул, поправил пушистую шапку. Раскачиваясь и чуть согнувшись, он ходил взад-вперед меж костром и народом.

– Мы бы пришли к тебе, да перечат старики, – выкрикнул с каким-то надрывом молодой парень и сплюнул в снег.

– Попридержи язык! – Белый дед гневно ударил костылем по сосне и погрозил в сторону примолкшей молодежи. – Словоблуды! Табашниками скоро заделаетесь.

– Парень дело говорит, – сказал Зыков и остановился. – Так ли, сяк ли, а вы явственно должны мне ответить, кто вы суть? Я только сего ради сюда и завернул. Истинно, не вру.

Он сложил на груди руки, и спрашивающие глаза его перебежали от лица к лицу.

– Помощи от вас я не требую: народ у меня есть, и еще идут. – А вот ответьте, без лисьих хвостов, по совести: со мной ли вы, друзьями, враги ли мои лютые или же ни в тех, ни в сех? Я мыслю – не враги вы мне, – в его голосе была и ласка, и угроза.

Помолчали. Белый дед смущенно постукивал костылем по пню. Все смотрели на него, ждали, что скажет.

Дед поднял голову, положил подбородок на костыль и, надменно потряхивая головою, спросил:

– Ты вопрошаешь, сыне, кто мы тебе: во Христе ли или во диаволе? А по первоначалу ты сам ответь: какое оправдание дашь делам своим? Дела же твои, сыне, зело скудельны. – Глаза старика злые, черные и острые, как шилья.

Зыков вздохнул и качнулся всем телом:

– Ты, старец Семион, вижу, в одну дудку с отцом дудишь, с моим родителем. По-небесному вы, может, и зрячи, а по-земному – слепые кроты. Где ты бывал? Что видел? Тайгу, горы, пни гнилые. А я везде бывал. Руки мои в крови, говоришь? Верно. Зато сердце мое за народ кипит.

Кержаки закричали, зашевелились. Как черная молния, со свистом рассекая морозный воздух, промчался за добычей ястребок.

Зыков длиннополо взмахнул кафтаном и вскочил на пень:

– Эй, слушай все!

Молодежь прихлынула к самому пню и, раздувая ноздри, дышала в мороз огнем.

– Кто гонитель нашей веры древней? Царь, архиерей, попы, начальство разное, чиновники, купцы. Так или не так?

– Так, так... Истинно.

– Добре. А посему – изничтожай их, режь и капища ихние жги. Настало время. Вся земля в огне. Откройте глаза и уши. Кто крепок, иди за мной. Через огонь, через меч мы возродим веру нашу в Святом Духе, Господе истинном. Кто слаб, зарывайся, как червь, в землю. На врага же своего пойду грудь к груди. Ну, говори, Семион, чего трясешь бородой-то!

Дед ткнул в воздух костылем, ткнул в лицо Зыкова шильем своих глаз, крикнул:

– Семя антихристово! Антихрист!.. Дело ли сыну нашей древлей матери-церкви с топором гулять?!

– А ты забыл Соловецкое сиденье при Алексее при царе? – подбоченился Зыков и перегнулся с пня, длинная цепь на черной рубахе повисла дугой. – Нешто иноки старой веры не били царских слуг, не лили крови? Вспомни, старик, сколько и нашей крови в то время пролито. Вспомни страдания протопопы Аввакума.

– Семя антихристово! Много вас, предтечев, развелось. Но и сам антихрист уже близ есть. Мозгуй! Голова пустая! По числу еже о нем – 666 – узнаешь его, число же человеческое есть антихристово.

– Кому нужны твои старые слова? – запальчиво, но сдерживаясь, проговорил Зыков. – О каком числе речь? Много раз предрекалось число сие, даже с незапамятных времен древних. Какое твое число, старче?

– Лето грядущее: едина тысяча девятьсот двадцать.

Старик заметил яд улыбки в густых усах и бороде Зыкова и голосом звенящим, как соколиный крик, рванул ему в лицо:

– Демон ты или человек?! Пошто харю корчишь?.. Во исполнение лет числа зри книгу о вере правой.

– Не чтец я твоих заплесневелых книг!! – загремел, как камни с гор, голос Зыкова, и все кержаки, даже сосны поднялись на цыпочки, а старик разинул рот: – Оглянись, – какие времена из земли восстали?! Ослеп – надень очки. Книга моя – топор, число зверя – винтовка да аркан!

– Уходи, Зыков, уходи! – Весь затрясся старик. – Не друг ты нам, всех верных сынов наших отвратил от пути истины... Горе тебе, соблазнителью... Знаю дела твои... Уходи! – неистово закричал старик, и его костыль угрожающе поднялся.

– Уходи, Зыков!! – миг выросли в руках бородастых кержаков дубинки. С треском, ломая поваленные сосны, толпа метнулась к Зыкову:

– Хриstopродавец!.. Прочь от нас!!

Но молодежь вдруг повернулась грудью к своим отцам.

Со злорадной улыбкой Зыков соскочил с пня и пошел, не торопясь, к заимке, затягивая на ходу кушак.

И толкались, лезли в его уши, в мозг, в сердце крики, гвалт, стоны, матерщина кержаков.

Ехали медленно. Гараська то был мрачен: вздыхал и оглядывался назад, то лицо его, круглое, как тыква, и румяное, вдруг все расцветало в сладкой улыбке. Гараська облизывался и пускал слюну.

– А ловко мы с Матрешкой окопачили бабку-то. На-ка, старая корга, видала? – Гараська мысленно наставил кукиш, захохотал и стегнул коня.

Зыков, прищурился глазами и опустив голову, всматривался в свою покачнувшуюся душу, читал будущее, хотел прочесть все, до конца, но в душе мрак и на дне черный стук злости. И лишь ближайшее будущее, завтрашний день, было для него ясно и четко.

– Этот старец Семион – ого-го...

Зыков видит: злобный старик седлает коня, берет двух своих сынов и едет к его отцу, старцу Варфоломею.

– Две ехидны... Ежели камень преградил твой путь на тропе горной, – столкни его в пропасть...

И Гараська думает, улыбчиво облизывая толстые от поцелуев губы:

– Баба ли, девка ли – и не понял ни хрена... Ну до чего скусны эти самые кержачки.

Кони захрапели. Зыков вдруг вскинул голову. У подножия горы, с которой они спускались в долину речки, ждали три всадника.

Зыков остановил коня. Гараська снял с плеча винтовку. Ствол, как застывшая черная змея, сверкнул на солнце.

– Зыков! Это мы, свои... Зыков... – И навстречу им, из-под горы, отделился всадник.

– Мирные, без оружия, – сказал Зыков.

– Эх, жалко, – ответил Гараська. – Давно не стреливал.

Когда съехались все вместе, три молодых парня-кержака сказали:

– А мы надумали к тебе, хозяин... Возьмешь? Только у нас вооруженья нету. Убегли в чем есть... После неприятности.

– Вот, даже мне глаз могли подбить, – показывая на затекший глаз, ухмыльнулся длинноты парень с чуть пробившейся белой бородкой.

– Ладно, – сказал Зыков. – Спасибо, детки.

– Куда, на заимку к тебе али в город?

– На заимку. Вернусь, – к присяге приведу. С Богом.

Дорогой, поглядывая на широкие плечи Зыкова, Гараська спросил:

– А правда ли, Зыков, что тебя и пуля не берет?

– Правда. Ни штык, ни пуля, ни топор.

– Кто же тебя, ведун заговорил?

– Сам. Я ведь сам ведун.

Гараська захохотал:

– Ты скажешь... А пошто же хрест у тя? Сам ночесь видал, спали вместе.

Тот молчал.

– Быдто тебя летом окружили чехо-собаки, в избе быдто, а ты взял в ковш воды, сел в лодочку да и уплыл. Старухи сказывали.

– Врут. Это другие разбойники так дельвали: Стенька да Пугач.

– А ты, Зыков, нешто разбойник?

– Разбойник.

– О-ой. Врешь! Те – атаманы. А ты нешто атаман?

– Атаман.

– Нет, ты воин, – сказал Гараська. – Ты за народ. У тебя войско. Ты войной можешь идти... Ты как генерал какой... Тебя народ шибко уважает. Про тебя даже песня сложена.

– Спой.

Гараська засмеялся и сказал:

– Да я не умею... Чижолый голос очень, нескладный... Ежели заору, у коня и у того со смеху кишка вылезет.

Долина все сужалась. Желтые, скалистые берега были изрыты балками и, как зубастые челюсти, все ближе и ближе сходились, закрывая пасть. На обрывах лес стоял стеной. Солнце ярко било в снег. Следы зверей и зверушек чертили рыхлые сугробы. Небо бледное, спокойное, наполненное светом и тишиной. Мороз старается щипнуть лицо. Очень тихо. Скрипучий снег задирчиво отвечает некованным копытам. Две вороны, по горло утонув в снегу, повертывают головы на всадников. Сорока волнообразно пересекла долину и с вершины елки задразнилась. Взлягивая прожелтел бесхвостый заяц. Сел. Уши, как ножи, стригут.

– А ты, Зыков, уважаешь с бабами греться? – Гараська смешливо разинул рот, повернул голову и насторожил припухшее, укушенное морозом ухо.

– Когда уважаю, а когда и нет...

– А я всегда уважаю... – облизнулся Гараська и в волнении задышал.

– У меня на этот счет строго. – И, обернувшись, погрозил парню. – Имей в виду.

– Гы-гы-гы... Имею...

Они повернули от Плотбища в горелый лес.

В это время сборный колокол в городке заблаговестил к молебну.

Глава V

Небольшой собор битком набит народом. Людской пласт так недвижим и плотен, что с хор, где певчие, кажется бурой мостовой, вымощенной людскими головами.

Редкая цепь солдат, сзади – мостовая, впереди – начальство и почетные горожане.

Все головы вровень, лишь одна выше всех, торчком торчит, – рыжая, стриженная в скобку.

Служба торжественная, от зажженного паникадила чад, сияют ризы духовенства, сияют золотые погоны коменданта крепости поручика Сафьянова, и пуговицы на чиновничьих мундирах глазасто серебрятся.

Весь чиновный люд, лишь третьегоднейшей ночью освобожденный из тюрьмы, усердно молится, но радости на лицах нет: ряды их неполны: кой-кто убит, кой-кто бежал и что будет завтра – неизвестно.

У двух купцов гильдейских Шитикова и Перепреева и прочих людей торговых в глазах жуткая оторопь: чуют нюхом – воздух пахнет кровью, и напыщенная проповедь седовласого протоиерея для них звучит как последнее слово над покойником.

Лицо сухого, но крепкого протоиерея Наумова дышало небесной благодатью. Он начал так:

– Возлюбим друг друга, како завеща Христос.

А кончил призывом нелicenseмерно стать под стяг верховного правителя и, не щадя живота своего, с крестом в сердце, с оружием в руках обрушиться дружно на красные полчища, на это отребье человеческого рода, ведомое богоотступниками на путь сатаны.

– Ибо не мир принес я вам, а меч, сказал Христос! – воскликнул пастырь, голос его утонул в противоречии, лицо вспыхнуло румянцем лжи, и глаза заволоклись желчью.

Рыжеголовый тщетно пытал вытащить руку из сплюсненной гущи тела, потом кивком головы он освободил ухо от шапки волос и, разинув рот, весь насторожился.

По случаю избавления града сего от бунта изуверов и крамольников, престарелый дьякон, выпятив живот, возгласил многолетие верховному правителю, победоносному воинству, верным во Христе иноплеменным союзникам, начальствующим лицам и всем богопасовым гражданам. А погибшим и умученным – вечная память.

После службы, под колокольный трезвон, народ повалил в городское управление.

– Будут речи говорить... Митинг...

– Митинги запрещены.

– А сегодня особый день... Разрешено. Шагай проворней!

Рыжий, весь взмокший, жадно глотал ядреный морозный воздух. Он тоже шагал с другими, выпытывал:

– А это чей домок, фасонистый такой? А-а, Шитикова? Что, дюже богат? Обманывает? Сволочь. А чего смотрите-то на него?

Таня Перепреева шла из собора домой с младшей сестренкой своей Верочкой.

Верочке весело, Верочка по-детски смеется, указывая рукой на рыжего верзилу:

– Таня, Таня, гляди-ка.

Но Таня ничего не слышит и не видит возле. Ее большие серые глаза устремлены вперед и ввысь, ее нет здесь.

Рыжий облизнулся на девушку:

– Вот так товарец... Чьих это?

Митинг прошел тревожно. Председательствовал внебрачный сын монаха, чиновник Горицвет. Говорили начальство, представители правых партий, служилый люд и духовенство, даже седовласый протоиерей Наумов.

Настроение было подавленное, всех охватил заячий какой-то трепет, речи были тревожны и смутны: город отрезан, солдат горсточка, солдаты ненадежны, продуктов и хлеба мало, на военную помощь правительства рассчитывать нельзя, красные же полчища с боем продвигаются вперед. Спокойствие, спокойствие!.. Кто-то слышал от самого коменданта, кто-то видел телеграмму, что сюда двинут отряд поляков, что этот отряд еще вчера должен был прийти сюда... Долой! Враки! Довольно слухов! Тут предлагают слухи, а между тем – ха-ха! Всюду мужичьи бунты, грабежи, пожары, по стране рыщет партизанская рвань. Разбойник Зыков мутит народ, грабит храмы, режет власть имущих и богачей. Горе стране, где нет хозяина. На кого же уповать, где найти защиту? Единая надежда – Бог. Но для сего надо подготовить себя постом, покаянием, добрыми делами и, главное, возлюбить ближнего, как самого себя. А вся ли крамола арестована? Справку! Пожалуйста, справку о последнем крамольном мятеже. Убито и ранено граждан и солдат 14 человек, двое пропали без вести. Со стороны же большевистской сволочи убито и изувечено 79 человек. А сколько красной сволочи ранено? Раненых нет. Bravo! Bravo!

С задних рядов поднялся костлявый, в черных очках, в измызганной шубенке человек и чахоточным голосом крикнул:

– А кто возвестил: любите врагов ваших? Кто?!

– А вот кто! – И кулак мясника ударил чахоточного по лицу. Очки погнулись, правое стеклышко упало на пол.

– Это портняга! Пьяница!..

– Он всегда за красных.

– Бей его!

– Сицыли-и-ист...

Но страсти постепенно утихали. Возле стенки, вытирая шубой штукатурку, продирался чахоточный, лицо его желто, костляво, безволосо, как у скопца, свободный глаз горел огнем, и жалко темнело сиротливое стеклышко.

– Иди, покуда цел, – тянул его за рукав милицейский, и сзади какой-то дядя в фартуке толкал его в загривок.

– Благодарим, граждане! Спасибо!.. – крикнул из дверей чахоточный и сплюнул кровью. – Убийцы вы!

– Вон, вон, вон!

Звонок.

– К порядку!

Взъершавшийся народ опускал перья, остывал, но ноздри все еще раздувались, и судорожно ходили пальцы на руках.

– Граждане, православные христиане!..

И в низком, сумеречном зале зашипело:

– Шитиков... Шитиков... Сам Шитиков.

Купец сбросил енотку, и на тугом животе его засияла золотая с брелками цепь. Загривок и подбородок его хомутом лежали на покатых плечах. Лысая, овальная, как яйцо, голова открыла безусый, безбородый рот и облизнулась.

– Граждане, – заквакал он, как весенняя лягушка, и большие лягушачьи глаза его застыли на вспотевшем лбу. – Кто приведет мне христопродавца Зыкова – тому жертвую три тыщи серебром...

– Я приведу!.. Самолично, – раздался лесовой хриплый голос. Шитиков и сидевшие за столом быстро оглянулись. Из полутемного угла шагнул рыжий верзила в полушубке, он выбросил широкую ладонь и прохрипел: – Давай, купец, деньги!.. Живьем приведу.

Шитиков пугливо откатнулся:

– Ты кто таков?

Рыжий исподлобья медленно взглянул на него:

– Я – неизвестно кто. А берусь... Давай деньги!.. Я каторжанин... И ты каторжанин. Давай деньги!.. Ей-богу, приведу!.. Самого Зыкова. Живьем... Давай деньги!

– А где Зыков? А где Зыков? Эй, рыжий!.. Говорят, сюда идет?! – закричали в народе.

– Зыков убит в горах.

– Нет, не убит... Идет... Сюда идет.

– Враки! – густо, по-медвежьи рявкнул рыжий. – Зыков теперича к Монголии ударился, войско собирать. А за три тыщи приведу... Берусь!

Вдруг послышалось на улице «ура» и резкий свист. Рыжий злорадно и загадочно вскрикнул:

– Ага, голубчики! – и тяжелым шагом двинулся к дверям.

Народ в испуге поднялся с мест. Одни бросились к выходу, другие к окнам, но стекла густо расписал мороз, и сквозь мороз непрощенно лезли в дом свист и крики.

– В чем дело? Сядьте, успокойтесь!.. – отчаянным, дрожащим голосом взывал председатель. – В чем дело?.. Стой!.. Куда! – И сам был готов сорваться и бежать.

– Назад! Назад! – вкатывалась в дверь обратная волна. – Назад!.. Это два офицера, чехословаки, что ли... Поляки, поляки!.. И отряд... Десять человек... Двадцать... Сотня... Целый полк!

И с треском в зале, через гром аплодисментов:

– Ура! Ура!..

Два поляка-офицера при саблях: тучный, лысый, с бачками, и черноусый, молодой, в синих венгерках, в длинных, чесаного енота, сапогах, тоже кричали ура, тоже хлопали в ладони.

Но не все присутствующие выражали патриотический восторг, многие угрюмо молчали. Как камень, молчал и рыжий. Скрестив на груди руки, он стоял, привалившись к косяку, и ждал, что будет дальше. А дальше было...

Акцизный чиновник Артамонов в церковь и на митинг не ходил. Черт с ним, с митингом, он беспартийный, черт побери всех красных, белых и зеленых, он просто труженик, ему надо обязательно к 15-му числу двухнедельную, по службе, ведомость составить. Царь был – царю служил, Колчак пришел – Колчаку, большевики власть возьмут – верой и правдой будет большевикам служить, черт их задави.

Отец Петр тоже не ходил в собор. Счастливый отец Петр.

Отца Петра крестьянин из соседней деревни на потребу к себе увез, старуху хоронить. Отказывался, не хотелось ехать. Но крестьянин в ноги упал, крестьянин два золотых отцу Петру в священнослужительскую ручку сунул. Батюшка согласился и уехал. Счастливый отец Петр, уехал!

А чиновник Федор Петрович Артамонов замест того, чтоб на счетах щелкать, упражняется с Мариной Львовной в чаепитии.

Состояние духа их тревожно. Что-то будет, что-то будет? В такие, прости Господи, времена живем. Но в тревогу постепенно, исподволь, вплетается какое-то томление, лень и нега. Давненько это началось, а вот сегодня крепко на особицу.

Не это ли самое томление их почуял сердцем отец Петр и упорно отказывался на потребу ехать? А все-таки поехал. Судьба. Счастливый отец Петр, счастливые Марина Львовна и акцизный чиновник Артамонов!

Кисея, старинные часы в футляре, герань, два щегла, ученый скворец, портреты архиереев. Самовар пышет паром, и пышет здоровьем пышная Марина Львовна, попадя. Дымчатый китайский кот зажмурился, у горящей печки дремлет.

– Ужасно все-таки народ стал вольный, – сказала матушка и положила Федору Петровичу в чай со сливок пенку. – О девицах и говорить нечего, но даже женщины.

– Наши дни подобны военной будке: белый, красный, черный, – ответил слегка подвыпивший Федор Петрович. – А женский пол поступает хорошо.

– Чего же тут хорошего? – спросила матушка, улыбаясь.

– А что же тут предвидится плохого? – озадачил хозяйку гость и легонько погладил рукой ее полную ногу. – Тут ничего плохого нет.

– Ах, как это нет! – вспыхнула матушка и задвигала стулом.

– Веяние времени, – смиренномудро заметил гость и еще ласковой тронул дрогнувшую ногу матушки. Матушка развела колени и быстро их сомкнула, сказав:

– От этих веяний могут выйти неприятности. Уберите вашу руку!

– При чем же тут рука?

Глаза чиновника горели. Он оправил виц-мундир, оправил бороду и стал закручивать усы.

– Одна девка другой сказала, – проговорил он: – а ты любишь, чего жалеешь... Черту на колпак, что ли? – и захихикал.

Матушка тоже захихикала и погрозила ему мизинчиком. Федор Петрович в волнении прошелся по комнате, остановился сзади хозяйки и вдруг, схватив ее за полную грудь, насильно поцеловал в губы.

– Что вы делаете?... Что вы делаете? Ой! – вскрикнула она и, перегнувшись через спинку стула, страстно обхватила Федора Петровича за шею.

В дверь раздался стук.

– Это Васютка.

Десятилетний попovich Вася – большой любитель всяческих событий. От усталости он шумно дышал и, захлебываясь словами, торопился:

– Дай-ка чайку... Поляки пришли. Полсотни. Офицеры. Будут большевиков судить. Один то-о-олстый, с саблей, офицер-то. А кони маленькие, с кошку. Я ура кричал, а другие дураки свистали. К купцу пошли обедать. Повар проехал, вино провез. Дай-ка хлебца. Пойду. Нет, не задавят, мы с Сергунькой!..

И мальчик, хлопнув дверью, убежал.

Из окна видно серое небо, серый день и край городишка, а там, дальше, в каменных берегах, – река. По белой ее глади вьется, убегая за серую скалу, дорога. Струи реки быстры, на самой середке вода прососала большую полынью. Черная вода ее обставлена редкими вещами.

Артамонов отошел от окна. Он чувствовал себя, как пропуделявший по дичи охотник. Черт дернул того дьяволенка не вовремя прийти.

– Я бы желал выпить водки, – сказал он.

Марина Львовна, покачивая бедрами, подошла к шкафу. Одну за другой Артамонов выпил три рюмки, а матушка только две.

– Не Марина ты, а Малина! – пришлепнув ладонь в ладонь, игриво воскликнул Федор Петрович, и...

...Сумерки надвинулись вплотную. В истопленной печке золотом переливаются потухающие угли. Кот, выгибая спину, косится на кровать, идет к двери и мяукает. Бьет шесть часов.

И опять кто-то нетерпеливо задергал скобку двери.

– Васютка, – сказал Артамонов и стал зажигать лампу.

Суетливо оправляя прическу и подушки, матушка сквозь глубокий вздох сказала:

– Теперь я понимаю сама, как пагубно действует революция даже на женщин духовного звания. Ах, Федор Петрович, злодей ты...

– Да-а-а, – неопределенно протянул тот, – седьмой час уж. – Он дыхнул в закоптелое стекло лампы и, сложив фалду виц-мундира свиным ухом, стал действовать им наподобие ерша.

Как угорелый влетел Вася.

– Столбы врываю! Три виселицы! Вешать будут! У собора!

– Кого, кого?

– Изменщиков!

– Слава Богу, – перекрестилась матушка.

– Когда? – спросил гость.

– Завтра. Объявления расклеены... Пойдем читать. Красные скоро придут... Триста верст до красных... Офицеры сказывали на площади... Народу-у... страсть. Пойдем!

За окнами падал снег. И что делалось на реке, там, у полыньи, никак нельзя было разглядеть. Полынья чернела. Сумерки сгущались. В окнах хибарок зажелтели огоньки.

Рыжий похаживал среди народа, выпрашивал, выпытывал, проводил хохотом двух пьяных, проехавших домой купцов. Пробрался в крепость. Ворота были празднично открыты. Закроют ровно в девять. На земляном валу у ворот серели часовые.

Внутри крепости, впритык к валу, стояли наскоро выстроенные еще летом досчатые конюшни. Лошади у кормушек хрупали овес.

Сквозь густо падавший снег рыжий вплотную подошел к поляку, чистившему своего коня.

– Эй, братяга, – тихо и озираючись, проговорил рыжий в самое лицо солдата. – Передай своим, чтоб ночью не зевали... Да ты лопочешь по-хрещеному-то?

– Ну. Знай маленько, – и солдат чуть попятился от сутулого верзилы.

– Возьми уши в зубы, коли так. Завтра, по-темну, партизаны придут. Слышал? Тыщи две. В случае – лататы. На конях в лес всем отрядом дуй... Поперек реки... По дороге вдоль не надо, а то в лапы партизанам угодишь, до единого всех вырежут, секим башка. Так и толкуй своим по-русски... Чуешь? Поперек реки...

– Ты кто есть? Провокатор? – словно проснувшись, прокричал солдат. – Эй, мужик, мужик, стой!..

Но рыжий быстро скрылся в мутной мгле.

Солдат поднял тревогу. Искали на конях, бегали с фонарями. Рыжий – как сквозь землю.

Поляки решили не спать всю ночь. Два их офицера после купеческого угощения были навеселе. Они отдали приказ: завтра же разыскать бродягу и повесить, а потом заказали привести для услады свеженьких девчонок.

Дом поповский на горе. Отца Петра все еще нету.

Артамонов подходит к окну.

– Что это такое?

Сквозь белый мрак мутнеют на реке огни. Их много. Огромная дуга огней примкнула концами к городскому берегу и в середине прервалась. Костры, должно быть. Наверное, рыбаки добывают рыбку. Должно быть, так.

На душе Федора Петровича противно, тошно и смертельная тоска.

Матушка укладывает Васю.

– А вы оставайтесь, в лото поиграем до отца Петра.

Артамонов молчит. Сердце невыносимо ноет. Хочется застонать протяжно и громко.

– Покойной ночи, – говорит он и, чиркая на ходу спички, спускается к себе вниз.

Возле купеческого крыльца по привычке дремлет караульный. Он видит страшный сон, мычит и охает.

На соборной колокольне сторож пробил девять.

Весь город спит. Федору Петровичу не спится.

Глава VI

Вдруг, словно по команде, на сонных улицах, на реке, в лесу и всюду загрохотали выстрелы. На всех колокольнях враз ударили в набат. Через соборную площадь, через взор и слух проснувшегося караульного, с гиканьем и свистом промчались в снежной мгле гривастые и черные, как черти, тени.

– Господи Суси, Господи... – закрестился караульный, и его колотушка покатила в снег.

Федор Петрович Артамонов вскочил с кровати, на босую ногу надел пимы, накиннул барнаулку-шубу и, весь дрожа, вышел за ворота. Было тихо, только снег крутил, и он подумал, что все это ему пригрезилось.

Но нет. Вскоре где-то на яру, у крепости, вновь затрещали выстрелы, ударил набат, и колыхнулось из-за крыш зарево.

«Однако, красные пришли»... – мелькнуло в его испуганном уме.

Ржаво поскрипывали калитки. Слышались робкие, прерывавшиеся шаги и голоса. Перекликались соседи:

– Эй, Назаров! Ты?

– Я.

– Это что такое?

– Не знаю...

Из метели вынырнул и дальше пробежал мальчишка. На бегу звенел на всю метель:

– Полякам шубы перешивают!..

– Кто?

– Не знай кто!.. Не видно... Чу, палят...

– Эй, мальчик! – крикнул и Артамонов.

Но калитки резко захлопали. С выстрелами проскакали два всадника, за ними еще, и целый отряд, что-то лопоча, жутко выкрикивая и стреляя в мать. А сзади с гиканьем, со свистом, с матерщиной завихоривали на храпевших конях люди:

– В проулки не пушшай! Гони к реке! К реке-е!!

Чиновник Артамонов тоже нырнул в калитку.

Поляков гнали прямо на костры. Но у костров – народ. Поляки заметались.

Тот, которого предупреждал рыжий, кричал товарищам, чтоб мчали поперек реки «до лясу». И вот ошалело ринулись в тьму, в то место, где разорвалась дуга костров.

– Ребята, стой! – медной глоткой рывкнул Зыков партизанам и, рванув уздой, враз вздыбил своего коня.

Все осадили лошадей.

– Готово. Влопались...

С проклятием, с воплем, наседая друг на друга, враги стремглав ухнули в ловушку-полынь, сразу вылетев из седел.

Тут было не глубоко – коню по шею – но вода быстро неслась, многих утянуло под лед, иные хватались за конские хвосты, отчаянно хлопались в ледяной воде, но, выбившись из сил, тонули со страшным визгом.

Всхрапывали, гоготали лошади, забрасывая передние ноги на закрайки, но тонкий лед, звеня, сдавал.

– Вылазют! Вылазют! – вскричали партизаны, их зоркие глаза увидели двух вылезших людей. – Прикончить надо...

– Пускай на морозе греются. Сами сдохнут, – сказал Зыков. – А впрочем... добудьте-ка сюда одного.

Он повернул коня, и все шагом поехали к кострам.

Месяц прогрыз подтянувшиеся к небу тучи, и в мутном свете видно было, как трепаным дымом проплывали облака.

– К утру вывездит, – проговорил рыжий. – Ишь, казацкое солнце ладит рыло показать, – и махнул рукавицей на луну.

– Слушай, Срамных, – обратился к нему Зыков. – Город заперт?

– Так точно... Кругом дозоры. Офицере схвачено. Крепостной начальник схвачен... Пушку я досмотрел старинную, у церкви валялась, в крепости, велел своим ребятам на вал втащить... Вдарить можно. Опять же встреча тебе будет: трезвон и леменация... Приказ мной даден.

Приволокли поляка. Бритая, без шапки голова, большие усы закорючкой вниз. Глаза на толстошеем лице прыгали, как у помешанного. Весь взмок, и едва держался на ногах.

– Пане... Змилуйся, пане!.. – дрожа и стуча зубами, упал он пред Зыковым в снег лицом.

«Сейчас пытать начнет», – сладостно подумал Гараська, пьянея звериным чувством.

– Встань. Какой веры?

– Католик, пане... Католик.

– Римской, что ли? О, сволочь... Разорвать бы...

– Дозволь мне, Степан, – хрипло загнул сзади широкоплечий горбун со свирепой мордой и сверкнул огромным топором.

– Нет, мне, Зыков, мне... – и Гараська соскочил с коня.

– Ну, ладно. Живи, – милостиво сказал Зыков. – Эй, дайте-ка ему сухую лопотину... Раздеть... Вишь, у молодца руки зашлись.

Когда поляк был одет в теплый полушубок, Зыков сказал ему:

– Коня тебе не дам. Беги за нами бегом, грейся. Посмотришь, как Зыков царствует, и своим перескажешь. Ежели твоя планида допустит тебя домой вернуться, и там всем расскажи про Зыкова. Я так полагаю, что спас тебя не зря. Ты кто? Ты враг мой, а я тебя возлюбил. И я мекаю, что много грехов тяжких за это мне сбросится с костей. А теперича...

– Скачут, скачут! – закричали голоса.

Зыков обернулся к городу. В неокрепшем лунном свете мчались четверо.

– Передались!.. Без кроволития! – кричали издали.

– Тпру... Товарищ Зыков, – сказал запыхавшийся солдат. Белый конь его мотал головой и фыркал. – Так что на митинге единогласно все тридцать пять человек постановили присоединиться к вам, товарищи... Долой Колчака, да здравствует Красная армия и красные партизаны с товарищем Зыковым во главе... Ура!.. – Солдат замахал шапкой, конь его закрутился, все закричали ура.

– Добро, – сказал Зыков. – Вы решили, ребята, по-умному. И нам работы меньше, и ваши головы останутся на плечах торчать. Спасибо. Ну, готово, что ль? Дай-ка огня.

Десяток выхваченных из костра горящих головней мигом, как в сказке, осветили Зыкова. Он вынул из-за пазухи часы:

– Эвона, одиннадцать скоро. Горнист! Играй сбор!

Медный зов трубы звучно и резко прокатился над рекой. Лес и горы, тотчас отозвавшись, пробредили во сне. У многочисленных костров закопошились партизаны, и вот, как на крыльях, стали слетаться к месту сбора всадники.

Зыков махнул рукой. Горнист сыграл «повзводно, стройся». Две сотни живо встали головами к городу.

– Вот, братцы! – прокричал Зыков, указывая на стоявшего рядом поляка. – Это наш враг был, теперича друг и брательник. Я его крестил в реке, в Ердани. Имя ему теперича дадено Андрон, а фамиль Ерданский. – Бороды враз взметнулись, и над головами лошадей прокатился шершавый смех.

– Ну, теперича на гулевань!..

Зыков вымахнул вперед отряда, за ним – сподручные. Развернули знамя. Рожечники наскоро продули берестяные рожки, дудари испробовали дудки, пикульщики – пикульки.

– Айда за мной!

Ударил барабан, горласто задудили многочисленные рожки и дудки, два парня бухали колотушками в медные тазы, в которых только что варили хлебово, свистуны в такт барабану оглушительно высвистывали.

Музыка стонала, выла, скорготала, хрюкала. Партизан от этой музыки сразу затошнило, у всех заскучали животы. Гараська заткнул уши пальцами и скривил рот: ужасно хотелось взвыть собакой.

Даже Зыков густо сплюнул и сказал в бороду:

– Вот сволочи... Аж мороз по коже...

Как только вступили в город, рыжий дядя Срамных сделал выстрел, тогда на всех колокольнях раздался торжественный трезвон. Глаза Зыкова чуть улыгнулись. Он ласково оглянулся на Срамных.

Все улицы по пути были освещены кострами. В переулках у костров, выгнанные из домов и хибарок горожане, и в каждой кучке – зыковский всадник.

Народ по приказу кричал ура, махал шапками, платками, флагами, особенно усердствовали мальчишки.

Собаки разъяренно кидались на рожечников, стараясь вцепиться в глотки лошадей. Крайний всадник снял с плеча вилы, ловко воткнул их в захрипевшего пса и перебросил через забор.

Зыков, гордо откинувшись, ехал на коне царем. Он совершенно не отвечал на восторженные крики. Только изредка подымал нагайку и выразительно грозил толпе.

Лишь показались ворота крепости, с вала пыхнул огонь, и вместе с пламенем тарарахнул взрыв, как гром. Кони шарахнулись и заплясали. Бежавшая за отрядом толпа метнулась враспынную, многие упали, опять вскочили, в ближних домах вылетели стекла.

Зыков с подручными рысью въехал в крепость.

На валу, около того места, где разорвало пушку, хрипя, полз на карачках бородастый, в поддевке человек. У самых ног зыковского коня он протяжно охнул, перевалился на спину и вытянулся, закатив глаза. На откосе неподвижно лежал еще один, зарывшись головой и руками в снег.

– Чурбаны неотесанные, – раздраженно сказал Зыков. – Из пушки палить не могут.

– Я им говорил, – замахал руками прибежавший, бледный весь, как полотно, солдат. – Пушка незнакомая, старинная, черт ее ведает, что за пушка... А они до самых краев, почитай, набили порохом... Вот и... Трое твоих орудовали, двое тут-ка, эвот они... А третьего не знай куда фукнуло, поди, где ни то на крыше. Я от греха убог.

Еще подходили солдаты, тряслись, как осинник.

– Есть другая пушка? – спросил Зыков. – Ну-ка, давай сюда. И пороху сколько хочешь? Ладно.

Дружно тянули от церкви заарканенную ржавую тушу пушки. Подтащили к откосу. Кричали, подергивая концы аркана:

Раз-два! Еще разок!

Раз-два! Матка идет!

Раз-два! Подается!

Но пушка подавалась туго. Она лениво вползала вверх, как стопудовая черепаха.

– Дубинушку надо! – крикнул красавец Ванька-Птаха и залиvisto запел:

Наш начальник Зыков
Че-о-рный!..
Он отчаянный
Задо-о-рный!..
Да, э-е-е-ей, дуби-и-нушка, ухнем...
Да, э-е...

– А ну! – Зыков соскочил на землю и впрягся в аркан.

Все надулись, сразу запахло редькой, и пушка, злобно ощерив рот, ходом поползла наверх.

– Миклухин! – крикнул Зыков. – Орудуй... Ты бомбардиром был. Греми раз двадцать...
Надобно на людишек трепет навести. А где ж красные правители? Большевики?

– В тюрьме... А главные перебиты были. Кой-кто остался.

– Всех на свободу.

– И жуликов?

– Всех. Моим именем. Большевики пусть спокойно по домам идут. Когда надо, покличу. Да пускай смирно сидят, а то... – он ткнул кулаком в грудь и гордо крикнул: – Я здесь власть! – Лицо его было сурово. – Эй, Гусак! Объяви нашим, чтоб разъезжались по домам. Чинно-благородно чтоб... моим приказом, строгим. Обид никаких. А то башки, как кочни, полетят! Гулять же будем по окончании делов. Срамных! Указывай фатеру.

Глава VII

Луна разогнала все тучи. От звездного неба шел голубоватый зыбкий свет.

Деревянный двухэтажный дом купца Шитикова, с колоннами и резьбой, выходил на соборную площадь. Стекла отливали голубым блеском, как на солнце темно-синий шелк. Внутри одинокий пугливо светился огонек. У ворот, по углам и во дворе стояли вооруженные партизаны.

– Двери, – сказал Зыков, влезая на крыльцо.

Сверкнула сталь двух грузных ломов, дерево затрещало, и Зыков с рыжим поднялись наверх.

Зыков двинул плечом запертую дверь, и оба пошли в заднюю комнату на огонек. Их шаги в пимах были тяжелы и мягки. В спальне горела лампа, у образов две лампадки. Хозяин и хозяйка стояли под лампадками, лицом к дверям, умоляюще скрестив на груди руки. Страх перекошил, исковеркал их лица.

– Здорово, ваше почтение, – прохрипел Срамных. – Давай деньги!.. Три тыщи! Видишь, сдержал слово, самолично Зыкова привел. Вот он, он! Давай деньги! – и захохотал. Хохот был хищный, злорадный. У хозяев остановилось сердце, враз похолодела кровь.

– Все возьмите... Батюшки мои, отцы родные... – и оба повалились на колени.

– Богачество можешь оставить при себе, – сквозь зубы сказал Зыков, горой шагая на них. В глазах Зыкова Шитиков мгновенно увидел свою смерть. Кособоко откачнулся и, прикрыв голый, как яйцо, череп ладонями, пронзительно завизжал. Зыков резко два раза взмахнул чугунным безменом, и все смолкло.

– Приплод есть? – спросил Зыков.

– Нету. Бездетные они. – Все лицо и глаза Срамных были в слюнявой и подлой улыбке.

– А там кто охает? – Зыков пошел с лампой в соседнюю комнату.

– А это ейная мать, больная...

– Выбросить в окно. С кроватью вместе.

Рыжий с двумя партизанами подняли кровать:

– Побеспокоить, бабушка, придется.

Старуха онемела: ворочала глазами и, как рыба, открывала ввалившийся рот. Поднесли к венецианскому окну и раскачали. Вместе с двойной рамой все кувырнулось на мороз.

Выбросили и те два трупы.

– Эх, дураки... Холоду напустили, – сказал Зыков.

– Законопатить можно. Эвот сколько ковров, – ответил рыжий. – Эй, пошукай-ка, братцы, гвоздочков.

Зажгли все лампы.

– А внизу кто? – спросил Зыков.

– Приказчики да Мавра, стряпуха ихняя.

– Позвать стряпуху. – И сел на кресло.

Мавра была слегка подвыпивши. У самой двери она брякнулась на колени и поползла к Зыкову, голая басом:

– Ой ты, свет ты наш, ты ясен месяц... Батюшка, кормилец, не погуби... Разбойничек ангельский...

– Дура! Ты купчиха, что ли? Встань...

– Верная раба твоя... Ой, батюшка, милый разбойничек... – и заревела в голос.

Зыков нахмурился, подхватил ее под пазухи:

– Жирная, а дура, – и посадил рядом с собой на диван.

– Ой, ой, – скосоротилась она и засморкалась. – Ничевошеньки я знать не знаю, ведать не ведаю... Хошь режь, хошь жги... А только что...

– Слушай...

– Не буду у них, у проклятых буржуев, жить.

– Да слушай же...

– Знать не знаю, ведать не ведаю... Разбойничек ты мой хороший...

– Молчи, сволочь! – внезапно вскочив, затряс Зыков под самым ее носом кулаками. – Срамных! Растолкуй ей, чтоб на двадцать ртов ужин сготовила... Да повкусней... А баня готова? Фу-у черт, дура баба.

Третий раз грохнула пушка. Стекла и висюльки на лампе взикнули.

– Скажи тому обормоту, как его... Миклухину, достаточно палить. Завтра... – проговорил Зыков и пошел в баню.

Ему светил фонарем приказчик Половиков, нес веник с мылом, простыню и хозяйское белье.

Баня – в самом конце густого сада. Весь сад в пушистом инее, как черемуха в цвету. И все морозно голубело. На пуховом снегу лежали холодные мертвые тени от деревьев.

– Прикажете пособить? – спросил приказчик, приподымая шапку и почтительно клюнув длинным носом воздух.

– Нет. Уважаю один.

– Не потребуется ли вашей милости девочка или мадам? Можно интеллигентную... – приказчик осклабился и выжидательно стал крутить на пальце бороденку.

Зыков быстро повернулся к нему, задышал в лицо, строго сказал:

– Не грешу, отстань... – и вошел в баню.

Зажег две свечи, начал раздеваться.

Когда стаскивал с левой ноги пим, рука его попала в какую-то противную, холодную, как лягушка, слизь. Он отдернул руку. От голых пяток до боднувшей головы его всего резко передернуло, лицо сжалось в гримасу, во рту, в пищеводе змеей шевельнулось отвращение:

– Тьфу! Мозги...

Он шагнул из бани и далеко забросил оба пима в сугроб.

От голубеющей ночи, со двора, пробирались к бане три всадника.

Зыков закрыл дверь, взял винтовку, китайский пистолет, нож и веник и нагишом вошел в парное отделение.

Когда он залез на полоч и с азартом захвостался веником, пушка грохнула в четвертый и последний раз.

Продрогшие за длинный переход партизаны набились по теплым городским углам, кто где.

У молодой бабочки Настасьи пятеро. Маленькая, шустрая, она, как на крыльях, порхала от печки к столу, в чулан, в кладовку.

– Да ты ложись спать... Мы сами... Зыков не велел беспокоить зря. А Зыков скажет – отпечатает.

– Как это можно, – звонко и посмеиваясь возражала та.

На столе самовар, яичница, рыба, калачи – бабочка на продажу калачи пекла.

Четверо были на одно лицо словно братья, волосы и бороды, как лен. Только у пятого, Гараськи, обветренное толсторожее лицо голо и кирпично-красно, как медный начищенный котел.

– А у тя хозяин-то, муж-то есть? – зашлепал он влажными мясистыми губами.

– Нету, сударик, нету... Воюет он... При Колчаке.

– При Колчаке? – протянул Гараська, прожевывая хлеб со сметаной. – Зыков дознается, он те вздрючит.

– По билизации, сударик... Не своей волей, – слезно проговорила бабочка, и сердце ее екнуло.

– По билизации ничего, – сказал мужик в красных уланских штанах. – Ежели по билизации, он не виноват.

Настасья успокоилась. Быстрые глаза ее уставились в бороды чавкающих мужиков.

– Кого же вы бить-то пришли? Большачишек, что ли?

– Кого Зыков велит, – сказал крайний мужик в овчинной жилетке с офицерскими погонами и крепкими зубами щелкнул сахар.

– Нам кого ни бить, так бить, – весело сказал Гараська и, обварившись чаем, отдернул губы от стакана.

– А ты нешто убивывал? – спросила бабочка.

– Убивывал. Я на приисках работал, там народ отпетый... Убивывал...

Глаза Настасьи испугались.

– Гы-гы-гы, – загоготал Гараська. – Вру, вру... А вот я бабенку уважаю чикотать, – он квакнул по-лягушачьи и боднул хозяйку в мягкий бок.

– А зыковский наказ забыл, паря? Оглобля!.. Черт... – окрысились на Гараську мужики.

– Так тебе Зыков и узнал, – с притворной заносчивостью сказал Гараська, подмигивая мужикам.

Все плотно наелись и рыгали. Молодые мужики, раздувая ноздри, примеривались к хозяйке глазом: бабочка круглая. Вот только что Бог ростом обделил. Одначе, не хватит на всю артель.

– Ну, братцы, дрыхнуть.

Настасья улеглась за занавеской на кровати, партизаны в соседней комнатухе на полу, разбросив шубы.

Старший, Сидор, задал лошадям овса, помолился Богу и бесхитростно до утра завалился спать.

Почти по всему городку партизаны крепко спали. Только выходы на окраинах караулили зоркие глаза, да разъезды, тихо переговариваясь, рыскали по улицам.

А вот за крашеными воротами драка, гвалт: два партизана, голоусик с бородатым, пьяные, вырывали друг у друга деревянную шкатулку.

– Моя! – кричал голоусик.

– Врешь! Я первый увидал.

И оба залепили друг другу по затрещине.

Разъезд загрохотал в калитку и въехал во двор:

– Язвы вас! Вы драться?!.

Партизаны крепко спали, и пушка сомкнула свое хайло, только обывателей мучила бессонница. Воля в каждом померкла, покривилась, всяк почувствовал себя беззащитным, жалким как заключенный в тюрьму острожник. Люди были, как в параличе, словно кролики, когда в их клетку вползет удав. Озадаченные обыватели то здесь, то там чуть приоткрывали дверь на улицу и прислушивались к голубой морозной ночи.

Но ночь тиха.

И это обманное безмолвие еще больше гнетет их. Каждый предвидел, что завтрашний день будет страшен: сам Зыков здесь.

Трепетали купцы и все, у кого достаток, трепетали чиновники и духовенство. Мастеровые, мещане и просто беднота тоже вздыхали и тряслись: Зыкову как взглянется, и хорошая и дурная про него идет молва.

Ой, не даром нагайкой Зыков погрозил. А кто у костров стоял? Простой народ. Вот вязались позавчера в бунтишко... Эх, черт толкнул, попы подбили с богатеями!.. Эх, эх... Пускай бы правили городом большевики, тогда б и Зыков не при чем.

Фортки, двери закрывались, и долго в домах, в хибарках шуршал тревожный разговор или шепот.

Весь город был в параличе.

Зыков, горячий, как огонь, выскочил из бани, – на красном исхвостанном веником теле чернеет широкий кержацкий крест, – кувырнулся в сугроб и запурхался в снегу.

– Стережете, ребята?

У всадников блестели под луной винтовки.

– Парься спокойно. Стережем.

Кому же спится в эту ночь? Непробудно спят на морозе Шитиков со старухой и женой, да еще в мертвом свете почивает утыканное крестами кладбище. Между могил стремглав несется ослепший от страха заяц, за ним, взметая снег, – голодная собака или волк.

Об убийстве Шитиковых в доме купца Перепреева никто не знает.

Сам Перепреев, плотный старик с подстриженной круглой бородой, ходит из угла в угол и зловеще ползет за ним его большая тень.

– Папаша, что же нам делать? Папашечка, – хнычет его младшая дочь Верочка, подросток. Она умоляюще смотрит на отца. Отец молчит.

Таня в темном углу возле окна, в кресле, поджала ноги под себя. Она, видимо, спокойна. Но душа ее колышется и плещет в берега, как зеркальный пруд, в который брошен камень.

Таня знает: ночь за окном темна, ночь сказочна, грохочет пушка, луна прогрызла тучи, и кто-то пришел в их жалкий городишко из мрачных гор. Кто он? Русский ли витязь сказочный или стоглавое чудище – Таня этого не знает. И кто ответит ей? Отец, сестра, мать?

– Папашечка, послали бы вы на улицу приказчика разузнать. Напишите письмо начальнику в крепость, – говорит Верочка.

Отец бессильно, с горечью машет рукой, вновь залезает на окно и выглядывает в фортку.

На тумбе, возле дома, торчит штык, чернеет борода.

– Эй, милый!

Но милый отворачивается и сплевывает в снег.

На диване, крепко перетянув голову полотенцем, охает хозяйка. Верочка подходит к ней, долго смотрит на нее, потом с чувством целует:

– Мамашенька...

Отец, как маятник, опять ходит из угла в угол, опустив голову. Ноги его начинают дрожать и гнуться.

– Растудыт твою туды. Надо к Перепрееву сходить, погреться, – шамкает промерзший в двух шубах караульщик. Он ударил в колотушку, вытарачил глаза на прочерневший разъезд, пробормотал:

– Тоже... ездют... Пес их не видал, – и, открыв калитку, заковылял в купеческий двор.

– Куда лезешь? Пошел вон!

Караульщик остановился:

– Иду, иду, иду, – повернул назад, бубня в седую бороду: – Растудыт твою туды. Застреляют еще, анафимы... И управы на них нету. К кому пойдешь?.. Тоже, правители... Тоже прозывается Толчак. Чтоб те здохнуть, Толчаку... А убьют купца. Ох, Господи... Пойду спать домой... Черт с ними и с амбарами его... Все равно убьют... Потому – сам Зыков.

Зыков парился очень долго и пришел из бани босиком.

Весь Шитиковский дом был освещен.

За длинным столом шумели. Стол, как войсками плац, уставлен бутылками, рюмками, стаканами. Прислуживают приказчики и два подручных, в красных рубахах, мальчика. Головы у мальчишек взъерошены. Один, раскосый, дернул украдкой сладкого вина, и ему в соседней комнате приказчик нарвал уши.

Партизанов по выбору приглашал Срамных. Девять человек молодежи, крестьянских парней – все они верные, испытанные слуги Зыкова, сотники, десятники; остальные, человек пятнадцать, всех мастей бородачи, кержаки и крестьяне. Это самые близкие Зыкову люди, его свита, правая рука. Среди них два седовласых деда: бывший с золотых приисков старатель и еще – бобыль-мужик.

Хохот, разговор. Несколько бутылок выпито, много закусок съедено. Но ужин еще не готов: Мавра и одноглазый повар-грек, приготовлявший днем обед в честь польских офицеров, загибают невиданные растегаи, варят пельмени, жарят баранину и кур.

– Зыков!

Все за столом поднялись, как пред игуменом монахи:

– С легким паром, Степан Варфоломеич!.. С легким паром... Пожалуйте... много лет здравствовать!

Спиныгнулись усердно, низко, и свисшие космы шлепали по воздуху. Зыков молча сел в середину. Справа от него, подложив под сиденье огромный свой топор, каким рубят головы быкам, мрачно восседал горбун. Он кривоногий, раскоряка, ростом карапузик, но могуч в плечах. Лоб у него низок, череп мал, челюсти огромны. Оплывшая книзу рожа его вся истыкана глубокими темными оспинами, словно прострелена картечью. Поэтому прозвище его – Наперсток. Большие белесые глаза красны, полоумны. Возле виска зарубцевавшийся широкий шрам. Наперсток говорит: медведь так обработал. Молва говорит: в разбойных делах мету получил.

Он весь во власти Зыкова, трепещет его и полон ненависти к нему. – Эх, скovyрнуть бы Степку да на его место встать! – Зыков тоже тяготится им, хочет от него отделаться, но кровь крепко спаяла их судьбу.

А вот и ужин, пельмени.

– Ну, братаны, теперя можно погулять, – говорит Зыков, но шумливый стол не слышит. – Эй, я говорю! – И в тишине раздельно: – Гуляй, да дело не забывай. Довольно, посидели мы в тайге, в горах. Сегодня жив, а завтра нету. Гуляй, ребята... Нажреться, спать здесь. На улку срама не выносить. В упреждение соблазна. И чтобы тихо.

– Степан! – прервал его Наперсток. – Я на топоре сижу, – он засмеялся, как закашлял, тряся горбом, вросшая в искривленную грудь плешивая башка его повернулась к Зыкову и ехидно ослабила гнилые зубы.

Зыков ожег его взглядом и сказал:

– Одноверы! В грехе не сомневайтесь: время наше – война. Кончим, правую веру свою вспомним, очистим воздух, станем жить по преданию отец и праотец. Кто трусит – грехи в мою голову. Я – единая власть вам, и я в ответе!

Кержаки кивали головами, чавкали еду, запивали вином. Парни друг перед другом рассыпались в самохвальстве, вино пили как воду, и все покашивались на Зыкова. Он глотал пельмени быстро, обжигался, хмуро молчал.

В левое ухо говорил ему Срамных. Пред ним на столе каракулями исписанный лист бумаги. Здесь перечислены все, которых завтра ждет расправа. Зыков слушает молча, но брови его хмурятся, и на глаза набегают тени.

– Эй, служающий!.. Ослеп? Наливай, черт, рыжа маковка! – кричат то здесь, то там.

Приказчик кожилится, штопором вытаскивая пробки. Свету много. В золоченой раме «Король-Жених». В простенке – овальное зеркало. Зыков поднял голову и, прищурившись, долго смотрит на себя.

В горке, за стеклом, блестит хрусталь и серебро. Пьяные глаза гуляк блестят, косясь на горку. Круглые часы пробили два. Зыков мрачен. Он выпил всего лишь два стакана вина, поднялся, внушительно сказал Наперстку:

– Наточи топор, – и вышел в другую комнату, закрыв за собой дверь. Ему хотелось уснуть, забыться. Разделся и лег на диван, покрывшись лисьим своим кафтаном. Но сон не шел. Думы,

как бегущая вода в камнях, плескались в голове, сменяя одна другую и переплетаясь. Вот бы кликнуть клич, набрать миллионы войска и завладеть, очистить всю страну. А большевики? Во что они веруют, за что идут? За народ? А вот уж посмотрим... Друзья или враги?.. Еще отец...

«Отец, неужели и ты враг мне?»

Вот Зыкова призвали сюда. Надо начинать большое дело. А с чего начинать? И как укрепиться? Известно, страхом, кровью. А дальше? Где такие еще есть, Зыковы? Эй, вы, старатели!.. Подходи сюда, соединяйся!

Нет, надо спать, спать.

Но там шумят, ругаются. Громче всех орет Наперсток. А в окно бьет своим светом луна.

Череп и все скуластое лицо Федора Петровича под луной, как у покойника. Он еще не раздевался и не зажигал огня. Сидит у окна, нещадно курит. За окном луна и тишь.

– Федя, – в третий раз спускается по внутренней лестнице матушка.

– Ах, это слишком, – раздражается Федор Петрович. – Пожалуйста, прошу вас подняться вверх.

– Я беспокоюсь за отца Петра.

– А я беспокоюсь о судьбе города. Знаете, в чьей он власти?

За рыжебородым Павлухой к Настасье прошел Лука, за Лукой – едва не лопнувший от страсти Куприян. Настасья ничего. В Настасьино окно тоже бьет луна, и кустик герани на окне тихо дремлет. Гараська весь изворочался, испытался, притворяясь спящим, как и те, а сам клял Куприяна: «Вот, дьявол, долго как». Гараська новичек, надо же старшим уважение оказать.

Когда пробило на купеческих часах три, гуляки помаленьку-помаленьку распоясались, сначала песни завели, потом и пляс.

Наперсток, сидя, подбоченился, тряхнул горбом и гнусавым своим голосом крикнул плясунам:

– А что мне Зыков? Тьфу!..

В это время и Гараська, сменив Куприяна, самохвально заявил Настасье:

– А что мне Зыков? Тьфу!..

И до самого до утра забрался под ее ситцевое одеяло. Настасья ничего. Настасья целый год жила, как монашка.

От пляса, грохотанья в пол пятками дрожала печь, и бутылки на столе качались.

– Ух-ух-ух-ух!!

Все были на ногах, хлопали в ладони, орали кто во что горазд. Только Наперсток сидел на топоре, как припаялся:

– А Зыков эвот у меня где!.. Попробуй-ка, убей меня... Я те убью. Эй вы, кержацки морды! – гнусил пьяный Наперсток. – Все вы анафемы... Все вы прокляты, кобелье!.. Эй, сволочи! Идите ко мне в шайку. Я – атаман... Топор эвот! Грабить, ребята, будем. Девочек портить, вино пить... – он схватил бутылку и, ухнув, пустил ее в зазвеневшие стекла горки. – Нна!.. Забирай, ребята, по карманам серебро да золото. Зыков жаднюга, сволочь. Не даст... Эй, бери в мою голову!.. А на Зыкова гостинец – вво! – он вытащил из-под сиденья топор и вдруг, взвизгнув, высоко повис в воздухе.

Мимо смолкших, застывших плясунов, как корабль мимо ладей, прошел в одной рубашке и портах грузный Зыков. В вытянутой вперед его руке дрыгал пятками, крутился и хрипел горбун. Зыков, скосив к переносице глаза, неторопливо прошел в крайнюю комнату, сорвал с разбитого окна ковер и выбросил горбуна на улицу.

Когда возвращался, в столовой и соседних комнатах притворно похрапывали, валяясь на полу, гуляки.

Глава VIII

– Кутью сюда, долгогривых, – низким, твердым голосом бросил Зыков, входя в собор. За ним шла ватага. На его голове новая лисья, с бархатным верхом шапка. На лоб, из-под шапки, свешивались черные, подрубленные волосы.

– Надеть шапки! – сказал он, обернувшись. – Чего сняли? Нешто это Господня церковь? Это так себе... Обман.

Постороннего народу никого, одни мальчишки. Поповский Васютка тоже здесь.

Весь народ у лавок, у магазинов, у лабазов. Еще утром трубари трубили во всех концах: именем Зыкова, его веленьем будет раздаваться народу купецкое добро.

В городе никакой власти нет, кроме власти Зыкова, единой, страшной. На высокой качели, вчера приспособленной поляками для казни, висят с утра четверо мещан, две бабы и мальчишка. Толпа вздумала громить лавчонку. Этих поймали. Зыков отдал приказ – вздернуть.

Все приказчики мобилизованы, но главная раздача идет через руки партизан. Мелькают аршины, крепким кряком рвется каленый на морозе ситец, ножницы стригут куски сукна.

– Эй, тетка! Сколько семьи? Получай... Пять аршин кумачу, десять аршин ланкорту, три платка, восемь аршин твину. Пачпорт! – И карандаш резкую делает кривуль-отметку. – Следующий!..

Снуют по площади, по улицам нагруженные мукой, горохом, кумачами, обутками людишки. Румяная деваха радостно улыбается морозному солнечному дню: поскрипывая новыми полусапожками, она тащит неожиданную получку и под мышкой банку с паточным вареньем.

Вылетел из лавки мальчик, бежит, машет связкой баранок, рад. Остановился у виселицы, взглянул на трупы и печальный тихо поплелся домой.

В крепости партизаны принимают от солдат оружие. Деловито, не торопясь и с толком. По богатым дворам забирают лошадей.

Зыков задал всем работу. Он в соборе, но он везде: и всякий из партизан, на какой бы работе ни был, видит строгие глаза его, слышит его голос. Зыков здесь.

А между тем солнце склонялось к закату, подрумяненными столбами валил густой дым из труб, и в соборе зажгли паникадило.

Зыков сидел на амвоне перед открытыми царскими вратами. На кресле положена архиерейская подушка, а под ноги брошены орлецы. По обе стороны его зажжены в высоких подсвечниках большие свечи – так распорядился для торжественности Срамных. От двойного свету сверху и с боков на бледно-матовом лице Зыкова играют тени, и серебрятся редкие седины в густой черной бороде. Лицо его незабываемо и страшно.

В церкви очень тихо, даже Наперсток присмирел, и его невиданной величины топор опущен вниз.

Тихо, все ждут знака. И по знаку выхватили с левого клироса старого протопопа. Парализованная, на левом клиросе, стояла кучка духовенства, начальства и чиновников в кольце вооруженных партизан.

– Кто ты? – твердо спросил Зыков старика.

– Я Божий протоиерей. А ты кто, еретик? – также твердым, но тонким, по-молодому, звенящим голосом ответил священник.

Зыков нахмурился, закинул нога на ногу, спросил:

– А знаешь про протопопа Аввакума, про лютую смерть его слышал? От чьей руки?

– Не от моей ли?

– От вашей, антихристовы дети, от вас, богоотступники, табашники, никонианцы. Кто глава вашей распутной церкви был? Царь. Кому служили? Богатым, властным, мамоне своей. А на чернь, на бедноту вам наплевать. Так ли, братаны, я говорю?

– Так, так...

– С кем идешь: с Колчаком или с народом? Отвечай!

– Сними шапку. Здесь храм Божий! – И седая голова протопопа затряслась.

– На храме твоём не крест, а крыж.

Священник вскинул руку и, загрозив Зыкову перстом, крикнул:

– Слово мое будет судить тебя, злодей, в день Судный!

Зыков вскочил, в бешенстве потряс кулаками и снова сел:

– Отрубить попу руку, – кивнул он Наперстку. – Пусть напредки ведаёт, как Зыкову грозить.

Наперсток распялил рот до ушей, и реденькая татарская бороденка его на широких скулах расщеперилась.

– Стой, – остановил его Зыков и спросил сидевшего в кресле, напротив от него Срамных: – Эй, судья! Одобряешь мое постановление?

– Одобряю, одобряю, – захрипел, заперхал рыжий верзила. – Он, окаянный, возлюбим друг дружку по первоначалу говорил... А опосля того, кровь, говорит, за кровь... Вот он какая, язви его, кутья...

– Народ одобряет? – На всю церковь, и в купол, и в стены прогремел Зыков.

– Одобряем, одобряем... Долой кутью!

Протопоп побелел и затрясся. Зыков махнул рукой. Наперсток, раскачивая топор, как кадило, коротконого зашагал к попу.

Весь дрожа и защищаясь руками, тот в ужасе попятился.

– Погодь, куда!

Вмиг священник растянулся на полу, сверкнул топор, и правая кисть, сжимая пальцы, отлетела. Кто-то захохотал, кто-то сплюнул, кто-то исступленно крикнул.

– Дозволь! – мигнул Наперсток Зыкову и занес над поповской головой топор.

– Подними, – приказал Зыков.

– Вставай, язва! – Наперсток, расшарашив кривые ноги, быстро поставил обомлевшего священника дубом.

– Стой, не падай.

Из толпы, со смехом:

– Держись, кутья, за бороду!

– Здравствуй батя... ручку! – сорвался Срамных с места и протянул ему свою лапищу. – Батя, благослови!..

– Ну, здоровкайся, чего ж ты, – прогнусил Наперсток.

А Срамных крикнул:

– Возлюбим друг дружку, батя! – и наотмашь ударил старика по голове.

– Срамных! – И Зыков свирепо топнул.

Рыжий, хихикнув, как провинившийся школьник, сиганул на место.

Пламя свечей колыхалось и чадило, капал воск. Иконостас переливался золотом, и пророки вверху шевелили бегущими ногами.

На паперти хлопали двери. С ружьями входили партизаны, они снимали шапки и крестились, но, оглядевшись, вновь накрывали головы и с сопеньем протискивались вперед. В темном углу молодой парень-партизан снял серебряную лампадку, попробовал на зуб и сунул ее в мешок. Потом перекрестился и встал в сторонке, цепко присматриваясь к сияющим образам.

Священник был бледен, глаза его лихорадочно горели и побелевшие губы прыгали от возбуждения. Он не чувствовал никакой боли, но инстинктивно зажал в горсть разруб изувеченной руки. Сквозь крепко сжатые онемевшие пальцы бежала кровь.

– А теперича у нас с тобой, попишка, другой разговор пойдет, – сказал Зыков. – Не зря я тебе оттяпал руку, гонитель веры нашей святой. Знаю вас, знаю ваши поповские доносы... Погромы учинять, народ на народ, как собак, науськивать?!

– По-о-ехал, – нетерпеливо прогнул Наперсток и поправил на башке остроконечную шапку из собачины.

– Знаешь ли, кто я есть, кутья?

– Злодей ты! Вот ты кто. – Священник рванулся вперед, и густой свирепый плевок шлепнулся Зыкову в ноги.

– Поп!! – И Зыков вздыбил. – Я громом пройду по земле!.. Я всю землю залью поповой...

– Проклинаю!.. Трижды проклинаю... Анафема! – Священник вскинул кровавые руки и затряс ими в воздухе. Из обесеченной руки поливала кровь. – Анафема! Убивай скорей. Убивай... – Голос его вдруг ослаб, в груди захрипело, он со стоном медленно опустился на пол. – Больно, больно. Рученька моя...

Зыков язвительно захохотал и враз оборвал хохот.

– Зри вторую книгу Царств, – торжественно сказал он, шагнул к попу и пнул его в голову ногой: – Чуешь? «И люди сущие в нем положи на пилы». Чуешь, поп: на пилы! «И на зубы железны и секиры железны, и тако сотвори сынам града нечестивого». Читывал, ай не? – Зыков выпрямился и повелительно кивнул головой: – А ну, ребята, по писанию, распиливай напополам.

Наперсток пал на колени:

– Эй, подсобляй. Рработай!..

Длинная пила, как рыбина, заколыхалась и хищно звякнула, рванув одежду. Священник пронзительно завопил, весь задергался и засучил ногами. Ряса загнулась, замелькали белые штаны. Ему в рот кто-то сунул рукавицу и на ноги грузно сел.

Парень с мешком было просунулся вперед, но вмиг отпрянул прочь, и по стенке, торопливо к выходу. Весь содрогаясь, он выхватил из мешка трясущимися руками лампадку, сунул ее на окно и пугливо перекрестился. Ему вдруг показалось, что пила врезывается зубами в его тело, от резкой боли он весь переломился, обхватил руками живот и с полумертвым диким взглядом выбежал на улицу.

– Следующего сюда! – приказал Зыков и опустился на парчевую подушку. У сухого, лысого, в рясе, человека со страху отнялись ноги. Его приволокли. Он повалился перед Зыковым лицом вниз и, ударя лбом в половицы, выл.

– Кто ты?

– Дьякон, батюшка, дьякон... Спаси, помилуй...

– Какой церкви?

– Богоявленской, батюшка, Богоявленской... Начальник ты наш...

– Народ не обижал?

– Никак нет... Опросите любого... Я человек маленький, подначальный.

– Вздернуть на колокольне. Следующего сюда!..

Дьякона поволокли вон и на смену притащили толстого рыжего попа.

– Этот – самая дрянь, погромщик, – сказал Срамных.

– Чалпан долой.

Наперсток намотал на левую руку поповскую косу и, крякнув, оттяпал голову.

– Следующий! – мотнул бородою Зыков.

Глава IX

Солнце село за побуревшей цепью каменных отрогов. Над городом кровянилось в небе облако, и наплывал голубой вечерний час. Виселица и трупы на ней молча грозили городу.

Наперсток вышел последним.

– Ишь ты, принародно желает, сволочь... – бормотал он самому себе. – А по мне наплевать... Только бы топору жратва была.

Душа его напиталась кровью, и взмокшие от крови валенки печатали по голубоватому снегу темные следы. Пошатываясь, он в раскорячку нес свой искривленный горб, и звериный взгляд его – взгляд рыси, упившейся крови до бешенства.

Через площадь, молча и бесцельно, двигаются конные, пешие партизаны, беднота.

Виселица замахнулась на всех. В пролетах колоколен, в воротах церковных оград тоже висят свежие трупы.

Три всадника на трех веревках водят по улицам коменданта крепости и двух польских офицеров. Средний всадник – Андрон Ерданский. На конце его веревкой толстый штабс-ротмистр пан Палацкий. Когда всадники едут рысью, пану очень трудно поспевать, он падает и, взрывая снег, с проклятиями волочется по дороге, как куль сена. Бегущие сзади толпой мальчишки смеются, кричат, швыряют застывшим конским калом. Прохожие останавливаются, из калиток выглядывают головы в платочках, в шапках и, как по приказу, деланно хохочут.

Черноусое лицо Андрона Ерданского болезненно-скорбно, озноб трясет его, и голова горит – бросить бы аркан, удариться бы в переулок и спать, спать... Но задний всадник не спускает с него глаз.

Весь город в красных флагах, купеческого кумачу Зыков не жалел. Флаги густо облепили дом купца Шитикова, и на балконе огромное красное, выдавшее виды знамя: – «Эй, все к Зыкову. Зыков за простой люд. Айда».

Гараська с Куприяном украли утром корчагу рассыпчатого меду.

– Надо водой развести, по крайности похлебаем. Навроде пива, – сказал Гараська. Он вывалил в пустую шайку мед и опружил туда два ведра из колодца воды.

– Что ты, толсто рыло, делаешь!.. Пошто добро-то портишь? – выхватила у него ведро прибежавшая с рынка Настасья. В руке у нее только что полученные подарки: женская кофта, шаль, пимы. – Выливай вон. Надо кипятком... Ужо я брагу вам сварю...

Она вбежала в домишко и запорхала взад-вперед, как угорелая. За ночь ее лицо осунулось, и голубые глаза были в темных, бессонных тенях.

Гараська взял винтовку и пошел на улицу.

– Эх, когда же по-настоящему гулевать-то станем...

Темнело. На блеклом небе бледными точками замерцали звезды.

Возле дома Шитикова горели костры, толпились люди.

Гараська направился к толпе, напряженно стоявшей у пылавшего костра. И, когда он пробирался вперед, взмахнул широкий топор Наперстка, сталь хряснула, покатила голова.

А какая-то румяная, в красном платочке тетя сладострастно взвизгнула, нырнула в толпу, но опять вылезла и уставилась разгоревшимися глазами на окровавленный топор. И вновь темная лапа выхватила трясущегося в серой поддевке старика.

– Зыков, спаси... Зыков, помилуй... Все возьми... – монотонно, как долгий стон, и очень жалобно молил он, упав на колени и подняв взгляд к террасе.

Но руки вцепились в него, как клещи, блеснул топор. Красноголовая тетя взвизгнула, нырнула в толпу, но любопытство взяло верх – снова вылезла. Она проделала так вот уже двадцать раз, два воза трупов лежали на санях, и плаха – покривилась: от обильной крови под

ней подтаял снег. В толпе приговоренных, оцепленных стражей людей, все время раздавались плач, стон, вопли.

Гараська был как во сне. Он только теперь вспомнил про Зыкова и перевел взгляд вверх: на возвышенном балконе стоял в черной поддевке, в красном кушаке, рыжей шапке чернородый, саженого роста великан.

Наперсток гекнул: – «Гек!» – и вся толпа гекнула, топор хряснул, покатила голова.

– Злодий! Злодий!.. – болезненно выкрикнул Андрон Ерданский и заметался по балкону. Ему вдруг захотелось броситься на горбуна и вгрызться ему зубами в горло. – Пан, пусти. Дуже неможется...

Возле Зыкова стояли люди, Срамных и другие, еще два парня с винтовками – стража.

– Веди сюда! – крикнул Зыков.

И к балкону подтащили коменданта крепости, поручика Сафьянова.

Лицо Зыкова в напряженном каменном спокойствии, он собрал в себе всю силу, чтоб не поддаться слабости, но пролитая кровь уже начала томить его. Наперсток подошел и ждал. Зыков с гадливостью взглянул в сумасшедшие вывороченные с красными веками глаза его...

– Довольно крови!.. – прозвучало из тьмы в толпе.

И в другом месте далеко:

– Довольно крови!

Плач, стон, вопли среди приговоренных стали отчаянней, крепче.

– Пανε... Змилуйся!.. – И Андрон Ерданский повалился в ноги Зыкову, – Ой, крев, крев...

Тот быстро вошел чрез открытые двери в дом, жадно выпил третий стакан вина, отер рукавом усы и на мгновение задумался.

– Господи Боже, укрепи длань карающую, – промолвил он, крепко крестясь двуперстием, и вновь вышел к народу, весь из чугуна.

– Судьи правильные, рать моя и весь всечестной люд! – зычно прорезало всю площадь.

Гараська глуповато разинул рот и огляделся. Направо от него, на двух длинных бревнах, сидели судьи: бородатые мужики, молодежь, горожане и три солдата-колчаковца.

– Отпустить коменданта, ненавистного врага нашего иль казнить?

– Казнить!.. Казнить!! – закричали голоса. – Чего, Зыков, спрашиваешь, сам знаешь...

– Казнить!.. Он нас поборами замучил... Окопы то и дело рой ему. Дрова поставляй... Трех солдат повесил... Девушке одной брюхо сделал... Удавилась... Они, эти офицерики-то с Колчаком, царя хотят!

– Вздор, вздор! Не слушайте, товарищ Зыков!.. – Поручик Сафьянов, комендант, был с рыженькими бачками, с редкими волосами на непокрытой голове, в офицерской, с золотыми погонами, растерзанной шинели. Он весь дрожал, то скрючиваясь, то выпрямляясь по-военному, во фронт. – Дайте мне слово сказать... Прошу слова!

– Ну?!

– Я принимал присягу. Служил верой и правдой... – голос офицера был то глух и непонятен, то звенел отчаянием. – А теперь я верю в вашу силу, товарищ Зыков... Я прозрел...

– Отрекаешься?

– Отрекаюсь, товарищ Зыков.

– Может, ко мне желаешь передаться?

– Желая от всей души... верой и правдой вашему партизанскому отряду послужить... Я всегда, товарищ Зыков, я и раньше восхищался...

– Тьфу! Гадина... – плюнул Зыков и подал знак Наперстку, но тотчас же крикнул: – Стой! – уцепился руками за балконную решетку и его медный голос загудел по площади: – Эй, слушай все!.. Зыков говорит... Власть моя тверда, как скала, и кровава, во имя божие. Где проходит Зыков, там – смерть народным врагам. Нога его топчет всех змей. Долой попов! Они

заперли правую веру от народа, царям продались. Новую веру от антихриста царя Петра, от нечестивца Никона народу подсунули, а правую нашу веру загнали в леса, в скиты, в камень... Смерть попам, смерть чиновникам, купцам, разному начальству. Пускай одна голь-беднота остается. Трудись, беднота, гуляй, беднота, царствуй, беднота!.. Зыков за вас. Эй, Наперсток, руби барину башку!

Но вдруг с зыковского балкона грянул выстрел, Наперсток схватился за шапку, любопытная тетя, взмахнув руками, навеки нырнула красным платком в толпу.

Судьи мигом с бревен к террасе:

– Не тебя ли, Зыков? Кто это?

Подбежал и Наперсток с топором:

– В меня, в меня стрелил... в шапку!..

На полу, у ног Зыкова катались клубком Андрон Ерданский и обезоруженный им парень-часовой.

– Отдай! Добром отдай! – вырывал свою винтовку парень.

Безумный Ерданский грыз парню руки, стараясь еще раз выстрелить в толпу, в Наперстка-палача. Все люди казались ему проклятыми горбунами, измазанными кровью уродами, всюду блестели топоры и, как птицы, табунились отрубленные головы.

– Эх, тварь!.. Не мог кого следует убить-то! – И молниеносный взор Зыкова скользнул от неостывшей винтовки к вспотевшему лбу Наперстка. – Мало ж ты погулял, щенок... – он приподнял Ерданского за шиворот и, перебросив через перила, сказал: – Вздернуть!

Но Наперсток, рыча и влаивая, стал кромсать его топором.

Глава X

– Мужики! Зыков город грабит, а вы, гладкорожие, все возле баб да на печи валяетесь! – еще с утра корили бабы своих мужей в ближней деревне, Сазонихе.

И в другой деревне, Крутых Ярах, колченогий бездельник, снохач Охарчин, переходя из избы в избу, мутит народ:

– Айда, паря! Закладывай, благословясь, кошевки... Зыков в городу орудует... Знай, подхватывай!..

И в третьей деревне бывший вахмистр царской службы Алехин, сбежавший из колчаковской армии, говорил крестьянам:

– Нет, братцы, довольно. Кто самосильный – айда к Зыкову!.. Народищу у него, как грязи. Вон, поспрошайте-ка в лесу, при дороге, его бекетчики стоят. Поди, мне какой ни какой отрядишка доверит же он. Пускай-ка тогда колчаковская шпана, пятнай их в сердце, грабить нас придет, али нагайками драть, мы их встретим...

И на многочисленных заимках зашевелился сибирский люд.

Это было утром.

А теперь, когда луна взошла и Гараська с ватагой рыщут по улицам...

Взошла луна – и городок опять заголубел.

Где-то далеко, на окраинах, постукивали выстрелы. Зыков слышит, Зыков отлично знает, что это за выстрелы, и спокойно продолжает дело.

Настасье хочется на улку погулять, но у ней ключом кипит брага, топится печь, она одна.

И отец Петр вместе с другими мужиками подошел к костру, там, на окраине. Он переоделся, как мужик: пимы, барловая, вверх шерстью, яга, мохнатая с ушами шапка.

В голубом тумане, на реке, по утыканной вешками дороге, чернели подводы мужиков.

– Допустите, кормильцы... Чего ж вы?

– Нельзя, нельзя! Поворачивай назад!

Пять партизан загородили им дорогу.

– Допустите, хрещенные... Мне хошь пешечком... – мужичьим голосом стал просить отец Петр-мужик.

– Здря, что ли, мы эстолько верст перлись... Сами-то, небось, грабите, а нам так... – сгрудились, запыхтели мужики. – Пусти добром! – У кого нож в руках, у кого топор.

Пять партизанских самопалов грохнули в небо залп. Мужики самокатом по откосу к лошадам.

К противоположному концу городка другая дорога прибежала с гор. Там тоже стоял обоз, рвались в город мужики. И колченогий снохач Охарчин тоже здесь:

– Достаток у нас малой. Толчак на вовся разорил... Желательно купечество пощупать.

Залп в воздух. Но не все мужики убежали. Осталось с десяток «вершних», на конях.

Вахмистр царской службы Алехин подъехал к самому костру. Низенькая и толстобокая, как бочка, кобыленка его заржала.

– Мне к хозяину лично, – сказал он, – к Зыкову.

– По какому экстренному случаю? – спросил партизан, тоже бывший вахмистр. Из башлыка торчала вся в ледяных сосульках борода и нос.

– Вот, товарищей привел... Желательно влиться в ваш отряд, – сказал Алехин. – Завтра еще подъедут.

– Езжай один. Скажешь, что Кравчук впустил. А вы оставайтесь до распоряжения. Слезавайте с коней... Табачок, кавалеры, есть?

Еще где-то погромыхивали выстрелы, то здесь, то там, близко и подальше. Зыков знает, что это за выстрелы: разъезды расстреливают на месте грабителей и хулиганов.

Но Гараська хитрый: Гараська смыслит, в какие лазы надо пролезать. Мешок его набит всяким добром туго, по карманам, за пазухой, под шапкой – везде добро.

И ружьишко на веревке трясется за плечом как ненужный груз.

Он идет задами, огородами, по пояс пурхаясь в сугробах:

– Отворяй, распроязви!.. С обыском!.. – и грохает прикладом в дверь. Дьяконица старая. Гараська выстрелил в потолок, взломал сундук. – Эх, добра-то!

Гараська ткнул в мешок отрез сукна, – не лезет. Выбросил из мешка чугунную латку, а вот как жаль: хорошая, выбросил медную кострюлю, опять туго набил мешок.

На столе фигурчатая из фарфора с бронзой лампа.

– Такие ланпы я уважаю, – пробурчал Гараська. – О, язви-те! Стеклопанная, – и грохнул в пол.

В доме было тихо. Лишь из соседней комнаты прорывались истерические повизгиванья. Гараська сгреб стул и ударил в шкаф с посудой. Движения его неуклюжи, но порывисты и озорны.

На шкафу – большой, круглый, пирог с вареньем, Гараська отхватил лапами кусок и затолкнул в рот.

Эх, хорош самоварчик, аккуратный, – пристреливался Гараська глазом. – Не унести... Другой раз... А сгодился бы... Черта с два, чтоб я стал Зыкову служить... Нашел Ваньку. Приду домой, оженюсь, богато заживу. – Жрал, перхал, давился, вытягивая шею, как ворона. – Эх, недосуг. Он поставил блюдо с пирогом на пол, расстегнулся, присел и, гогоча, напакостил, как животное, в самую середку пирога.

Костры возле Шитикова дома горят ярко, охалками швыряют в них дрова, пламя лопочет, колышется, вплетаясь в голубую ночь.

– Вот ты, Зыков, наших попов кончил, другие, – которые хорошие... Это не дело, Зыков. А самую сволоту оставил! – кричали в толпе.

– Кого? – спросил тот.

– Отца Петра. Самый попишка жидомор...

И в разных местах:

– Нету его! Нету, уж бегали... Третьеводнись на требу уехал.

– На кого еще можете указать? – крикнул Зыков. – Не было ли обид от кого?

Народ только этого и ждал. Как ушат помой, доносы, кляузы, предательство. Из домов и домишек выхватывались люди. Звериное судьбище, плевки, матерщина, крики, гвалт. Петька Руль у Пахомова в третьем году хомут украл, Иванов о Пасхе жену Степанова гулящей девкой обложил, тот колчаковцам лесу для виселиц дарма возил, этот худым словом Зыкова облаял.

– Врешь, паскуда, врешь!.. Ты мне два ста должен. Смерть накликаешь на меня?! Дешево хочешь отделаться, варнак. Да ты за груди-то не хватай, жиган такой! А не ты ли в зыковских солдат выстрел дал? Ну-те-ка, опросите Лукерью Хвастунову...

– Эй, Лукерья!.. Где она? Бегите за Лукерьей Хвастуновой.

– Здесь она... Лукерья, толкуй!

Гвалт, крики, слезы, ругань. Ничего не пившая толпа была пьяна. Мещане, мастеровые, гольтепа, все распоясались, у всех закачался rassудок.

Наперсток пощупал ногтем, не затупился ли топор. Выстрелы, костры, кровь, где-то ревели хором хмельную песню, и на площади, как в кабаке, – кровавый хмель.

– Чиновник Артамонов ты будешь?

Федор Петрович подытоживал на счетах ведомость, все не выходило, врал.

Поднял голову. У двери стоял Вася, а перед Федором Петровичом – солдат и бородач.

– Зыков приказал тебе прийти к нему.

– Зачем это? – Его лысый череп, лицо и комната были зелены. Зеленый колпак на лампе дребезжал, и прыгали орластые пуговицы на потертом вицмундире.

– Зачем?

– Неизвестно. Велено.

Артамонов, облокотившись на стол, дрожал крупной дрожью. «Знаю, зачем. Убить».

– Пошлите его к черту! – крикнул он, и словно не он крикнул, а кто-то сидевший в нем. – Мне некогда. Ведомость... Я в политике не замешан, колчаковцам и разной сволочи пятки не лижу... А ежели надо, пускай сам сюда идет...

– Ну, смотри, ваше благородье.

Оба повернулись и, хихикая, вышли вон. Погоня коня, бородач сквозь смех говорил солдату:

– Что-то Зыков скажет? Антиресно...

Зыков удивился:

– Ну? Неужто так-таки к черту и послал? – нахмурил лоб, подумал и сказал улыбаясь: – Молодец. Не трогать.

– Он хороший человек!.. Спасибо! Не трог его... Только выпить любит... – кричали в толпе.

Зыкову наскучило, ушел в дом, хватил вина и устало повалился на диван.

– Аж голова во круги идет... Фу-у-у...

– Фу-у-у, язви тя! Видала, Настюха, что добра-то? – ввалился потный, весь в снегу, запыхавшийся Гараська. – В деревне сгодится... Женюсь... Думаешь, Зыкову буду служить? Хы, нашел Ваньку. Ну и натешился я... Только женски все сухопарые подвертывались, а я уважаю толстомясых... Ого, бражка! Давай, давай... А где же наши? – Гараська выхлестал два ковша браги, спрятал под лавку мешок: – Ежели хошь иголка пропадет, убью... – взял другой мешок, пустой, пошлепал Настасью по заду и удрал.

Кой-где, по улицам, по переулкам, возле домов и домишек с выбитыми стеклами валялись не то пьяные, не то расстрелянные солдаты, выпущенные из острогов в серых бушлатах арестанты и прочий сброд. Улицы безлюдны, разездов не попадалось, с площади доносился неясный гул.

Зыков задремал.

А внизу Мавра, повар и приказчики пекли блины. Блинов целая гора. Блинный дух повис над площадью, над долиной реки, над темным лесом.

А там, за лесистыми горами, в недоступных взору горизонтах, притаились села, города, столицы, белые и красные. На восток, по стальным, бездушным лентам спешат грохочущие поезда, набитые тифом, страхом, отчаянием. Это люди бегут от людей же, бегут, как звери, по узкой звериной тропе вражды. И, как звери, они безжалостны, трусливы и жестоки. Люди, как звери, одни бегут, другие нагоняют. Вот настигли. Горе, горе слепому человеку. Даже луна в звездных небесах грустно скосила глаза свои на землю, а над всей землей стояла голубая ночь. Над землей стояла ночь, но красные знамена приближались.

Гараська поднялся по лестнице и твердо ударил прикладом в дверь:

– Кто тут?

– Свои.

Гараська выбросил Васютку на крыльцо и запер двери.

– Товарищ, вам кого?.. Мы ж бедные... Товарищ!.. – схватившись за сердце и пятясь, вся задрожала Марина Львовна.

– Гы-гы... Тебя, толстущечка, тебя!.. – Гараська бросил мешок, сорвал со своих вздыбившихся плеч полушубок. – Такая нам давно желательна... Ложись, а то убью.

Гараська сразу оглох от резкого крика попады.

Вихрем взлетел снизу Федор Петрович:

– Это что? Вот я тебя сейчас из револьвера, черт! Ах ты!!!

Гараська грохнул его на пол, дакнул за горло и орангутангом бросился на попадю, с треском и гоготом разрывая ей одежду:

– Титьки-та... Титьки-та!..

Глава XI

Блины готовы, топор ослаб, и кровь на площади остановилась.

Всех недобитых отвели в деревянную церковь и заперли под караул. Зыков знает, как с ними рассчитаться.

А возле шитиковских хором затевается штука, ой, да и занятная история.

Пред самой террасой очистили от народа площадь. Караульщик в двух тулупах пришел с лопатой, но толпа так утоптала снег, что гладко. Ковер за ковром тащут подвыпившие партизаны и кладут на снег рядами, плотно, ковер к коврам. Выносят мебель. Вот выплыла на террасу из распахнутых дверей, как ладья из ущелья, черная грудь рояля.

– Сады! Тащи сады! – командует Срамных.

Шитиковский дом богатый, первый дом, и «садов» в этом доме много. Пальмы, фикусы, пахучие туи выкатывались в кадучках на мороз и выстраивались в ряд по грани дорогих ковров.

Шитиковский дом самый богатый, но, пожалуй, и Перепреевский дом ему подстать.

– Тпру! – Чернобородый чугунный Зыков соскочил с черного коня и бросил поводья стоявшей страже.

В широкую спину его поглядели большие желтые глаза, и один бородач сказал другому:

– Видно, сам прикончить пожелал.

Зыков вошел в Перепреевские покои, как в свой дом, один.

Федор Петрович пошевелился и застонал. Гараська наскоро выпил второй стакан водки и вильнул в его сторону мокрым глазом:

– Вот что, попадья, – прогнусил он Марине Львовне, расстрепанно сидевшей на полу. – По присяге я тебя должон чичас зарезать, язви-те... Потому как всей кутье секим-башка...

Матушка захлюпала и замолилась.

– Не вой, – и Гараська улыбнулся. Его глаза и улыбка были слюнявые и липкие, как грязь. – Потому как ты очень примечательна, я тебя не потрогаю... А надевай ты, матка, штаны, шапку да тулуп и беги скорей к знакомым... А то придут наши, смерть... Ох, и скусна ты, матка, язви-те...

Огарок на столе чадил, Гараськина головастая тень пьяно елозила по беленым стенам, в окно косо смотрела луна, а под луной, по улицам разъезжали партизаны: пикульщики пикали на пикульках, дудильщики дудили в дуды, бил барабан и раздавались крики:

Эй, попы, купцы, дворяне,
Чиновники и поселяне,
И вы все, мелкие людишки,
Пискари, караси, ершишки!..
Зыков всех зовет на блины-ы!!
Представленье смотреть, веселиться,
Всем чертям молиться...
На блины-ы-ы!!

И под луной же, там на крепостном валу, искусник-пушкарь Миклухин задувает в пушку тугой заряд. А Настя управилась с делами, обрядилась во все новое и, беспечально поскрипывая по снегу новыми полсапожками, шла под луной на пикульи голоса и крик.

Может быть, от этого крика или потому, что в комнату вдруг вошел огромного роста человек, Таня вскочила с дивана, оторвав от заплаканных глаз платок.

– Мне не по нраву, когда в горнице темно... Дайте огня.

Таня бросилась в ближайшую дверь, и переполошный замирал-удалялся ее голос:
– Зыков, Зыков...

Огня не подавали. Он твердо пошел вслед за Таней. В крайней ярко освещенной комнате, сбившись в кучу у стены, тряслись три женщины. Когда Зыков вошел, они подняли визг и заметались.

Таня с криком вскочила на кровать и, схватив подушку, прижалась с нею в угол.

В этот миг ахнула с крепости пушка. Дом вздрогнул, а Настасья сунулась носом в снег и захохотала. Гараська бежал огородами с тугим мешком домой. Тоже упал, поднялся и пьяно проговорил:

– Ух, язви-те!.. Как подходяво вдарило...

– Я все купецкие семейства убиваю. Вам же бояться нечего... Это говорю я, Зыков. Ребята караулят ваш дом надежные... Не пугайтесь, и он кивнул головой на девушку: – Молите бога вот за нее, за эту.

У Тани вдруг расширились глаза от страха или от чего другого, и тонкие губы раскрылись.

– Танюха, поди сюда! Брось подушку.

– Зыков, отец родной... Ой, голубчик... – и мать упала на колени.

Он сдвинул брови и упер железный взгляд в большие остановившиеся глаза девушки:

– Ну!

Татьяна соскользнула на пол и послушно стала подходить к нему, высокая, упругая, не понимая сама, что с ней. Он шагнул навстречу и грузной рукой погладил ей голову. Черные девичьи косы туго падали на спину, и Зыкову показалось, что все лицо ее – два больших серых глаза под пушистыми бровями и маленький алый рот.

– Вот, к разбойнику подошла... Вся в черном, как черничка... – ласково сказал он.

Девушка крикнула:

– Ах! – внезапно вскинула руки на плечи Зыкова и застонала: – Ой-ой, зачем вы папочку убили?.. Папочку...

– Так надо, – сказал он, тяжело задыхаясь, и подхватил повалившуюся на пол девушку: – Ну, зашла, сердешная...

У Тани глаза закрыты, улыбка на побелевшем лице и скорбь. Понес ее на кровать. Руки девушки повисли, как у мертвой, и повисли две черные косы ее.

Когда нес, мать и Верочка бросились к Тане. Верочка затряслась, затопала, отталкивая его кулаками:

– Уходи, убийца!.. Прочь!.. Ты папашеньку убил... За что? Он хороший был... Он честный был... А ты дрянь, мерзавец!.. – и злобная слюна летела во все стороны.

Он выхватил из графина пробку и быстро смочил водой полотенце. Таня открыла глаза.

– Испужалась? А ты не бойся, – сказал он, улыбаясь. – Эх ты, дочурка... А я в гости тебя звать пришел, на гулевань... Чу!

Опять грохнула пушка.

– Ну, отлеживайся... Ужинать к тебе приду... – Он взглянул на свои часы. – Ого, первый. Ну, не бойтесь. Будете целы.

Снег взвивался из-под копыт его лошади, а там, на окраинах, снег мирно блестел, и в окна домов и домишек била луна.

В лунном свете и свете огарка, как лунатик, поднялся с полу Федор Петрович. Сипло закашлялся, покосился на какого-то человека в тулупе и шапке, хотел крикнуть, хотел выгнать вон, но, повертывая посиневшую больную шею, робко и крадучись, стал спускаться вниз, к себе.

Незнакомый дядя в тулупе и шапке торопливо выгребал все ценное из комодов, сундуков, ларчиков и вязал в большой узел, в простыню.

Это была матушка, Марина Львовна, попадья.

Зыков захохотал.

Перед ним за огромным столом, на мягких шелковых креслах, сидели гости: купечество, баре, белая кость. Наряд их богат и пышен. Шляпки – чудо: с перьями, с птичками, с цветами – одни нахлобучены каравайчиками до самых до бровей, другие сидели на затылке. У носастой дамы, что в середке с веером, шляпа прикреплена атласной лентой: лента процвела сиренью по ушам, по волосатым скулам и под огромной желтой, как сноп, бородищей – великолепный бант. Дамы донельзя напудрены и нарумянены, но многие из них страшно бородаты, и на лицах свободного от шерсти места почти нет – белеют и краснеют лишь носы и лбы. Груды у дам, как у кормилиц. Купчиха Шитикова, чьи наряды красовались на гостях, была женщина тучная, крупная: гостям как раз, только у троих лопнули кофты.

Пегобородый Помазков с огромным турнюром и в кружевном белоснежном чепчике, толстозадый Опарчук в бабушкиной рубахе, очках и красной шляпе, а Митька Жаба в одних панталонах с кружевами и корсете. Курмы, душегреи, капоты, холодаи горят разными цветами. Дамы разговаривают очень тонкими голосами, курят трубки, сипло отхаркиваясь и сплевывая через плечо. Мужчины в сюртуках, пиджаках, поддевках, халатах.

Зыков смеялся, всматривался из-под ладони в лица, с трудом узнавал своих.

– Залазь, Зыков, гостем будешь!

Сряду же после третьей пушки в соборе и других церквах ударил малиновый пасхальный трезвон. Толпа горожан, что густо окружала ковровую площадку, враз повернула головы.

А трезвон летел в ночи, веселый и нарядный, гулко бухали тяжелые колокола и в трезвоне, в лунном свете чинно двигался из собора крестный ход. Где-то там, все приближаясь, колыхались церковные напевы, и следом в разноголосицу звенело звонкое ура ребятишек.

Толпа расступилась, изумленно разинула рты, пропуская незнакомое духовенство. Ирмосы священники пели в двадцать ядреных голосов, многие из граждан сдернули шапки, закрестились, но, прислушавшись к словам распевов, раскатисто захохотали и напялили шапки до самых переносиц, а некоторые с плевками и руганью пошли прочь.

Лишь только духовенство, сияя ризами, вступило на ковры, гости бросились под благословение к долгобородому архиерею. Тот благословлял всех наотмашь, приговаривая:

– Изрядно хорошо, – и совал для лобызанья кукиш.

Возле архиерея лебезили, потирая руки и кланяясь в пояс, осанистый купец в енотке и его жена долгобородая купчиха со шлейфом и под зонтиком – хозяева.

– Пожалуйте, ваше просвященство, к самоварчику. Отцы крутопопы, отцы дьяволы... Ваши окаянства! Милости просим от трудов наших праведных...

Когда архиерей, благословив блины и питье, стал садиться, из-под него выдернули стул. Митра покатила, архиерей кувырнулся, задрал вверх ноги, и заругался матерно.

Настя смеялась, колокола трезвонили вовсю, огромные костры весело пылали, распростирая тепло и свет, а трупы удушенных смотрели с виселиц обледенелыми глазами.

Настя побежала домой – не ограбили бы хулиганы, а когда вернулась – горы блинов были съедены, вино выпито и вынесенная на улицу купеческая гостиная, вся в цветах, коврах, мебели, оглашалась дружным ревом: духовенство соборне служило молебен.

На рояли стояло кресло, в кресле высоко восседал в ризах пьяный поп, держащий под пазухой четверть водки. Лохматый протодьякон выхватил изо рта трубку и по-медвежьи взвыл:

– Завой-ка глас шести-ы-ый!..

Архиерей, воздев руки и, с трепетом взирая на сидящего угодника, елейно залился:

– Преподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с...

Четыре дьякона возженными кадильницами чинно кадили угоднику, гостям, толпе зевак. Гости крестились кукишами, некоторые стояли на коленях, в толпе плевались, слышались недружелюбные выкрики и ругань.

Но все это тонуло в ответном благочестивом реве глоток:

– Преподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с!..

Срамных сидел за роялем, как лесовик, он со всей силы брякал в клавиши двумя пятерными враз и дико орал какую-то разбойничью. Рояль гудел и грохотал, дико ревели гости, и камильницы, мерно позвякивая, курили фимиам.

Насте хотелось хохотать и оскорбленно плакать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.